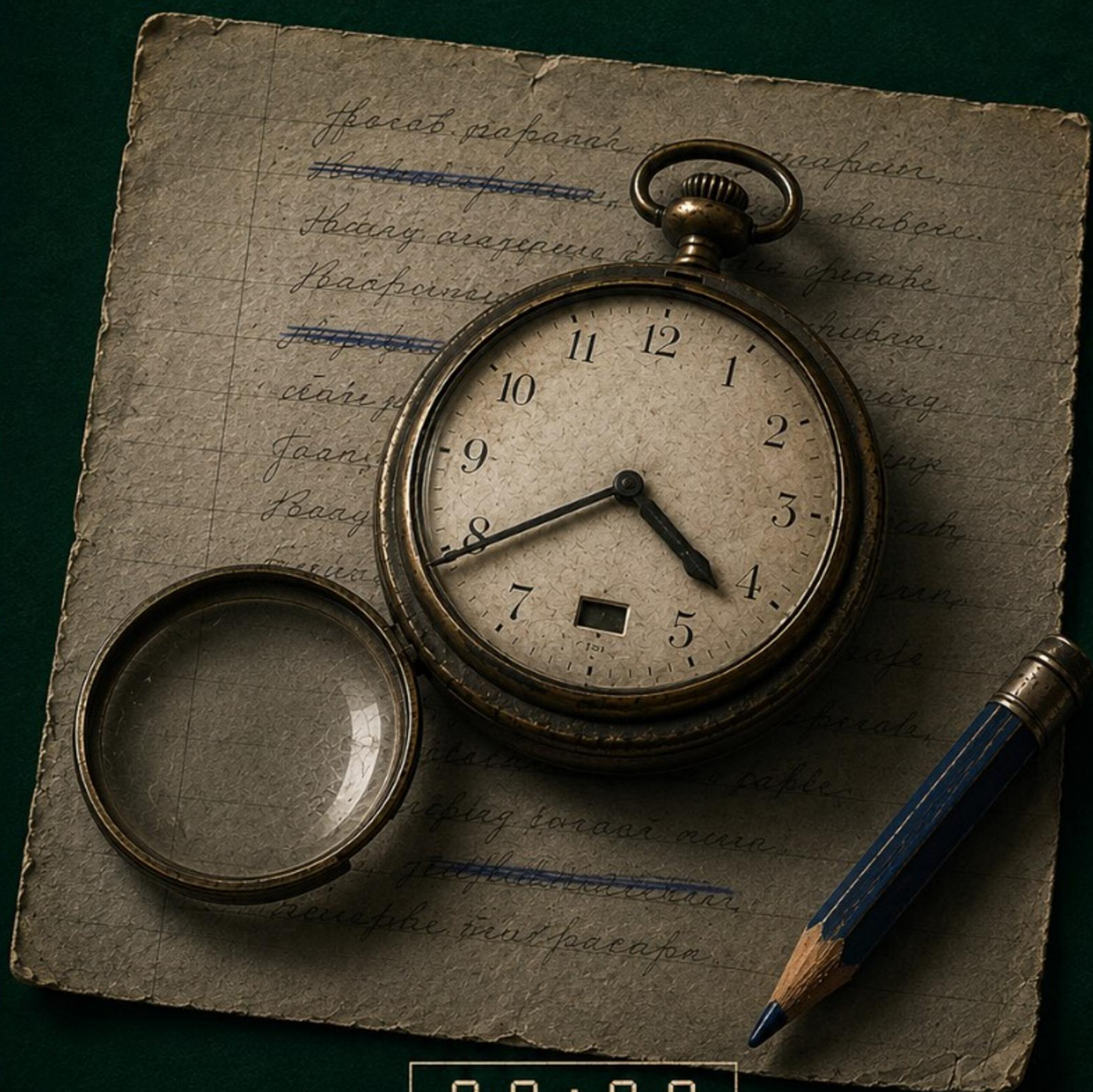


НОСИТЕЛИ
книга третья

НОЛЬ

Последнее, что теряет человек, — самого себя.



00:00

О К С А Н А В О Л К О В А

Оксана Волкова

Ноль (00:00)

«Автор»

2026

Волкова О.

Ноль (00:00) / О. Волкова — «Автор», 2026

Психологический триллер о вине, памяти и ЦЕНЕ ПРОШЛОГО, которое не хочет уходить. Счёт достиг нуля. Часы остановились. Но Мира всё ещё жива — и это страшнее любой смерти. Она узнала правду. Теперь ей предстоит выбрать: забыть всё и начать заново или заплатить за чужую вину, чтобы спасти тех, кто ещё помнит. Но есть ли прощение там, где память стёрта? Конверт на столе вскрыт. Мира не открывала его. Пока она собирает двадцать девять имён из чужих часов, зима вычёркивает их синим карандашом, которого она не покупала. Каждое утро на подоконнике появляется новое имя — и в тот же день оно всплывает в газетных списках потерь. Шесть матрасов в подвале, тетрадь под половицей. Вода, голос, считающий до четырёх. Строка «расход — три» и три имени через запятую. Отец не узнаёт её в дверях. «Боль — это единственное доказательство того, что я любила». Третья книга серии «Носители».

© Волкова О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая. Счёт	7
Глава 1. Замок	7
Глава 2. Похороны Ноэля	13
Глава 3. Футляр	18
Глава 4. Двадцать семь	23
Глава 5. Свидетельство	28
Глава 6. Подвал	33
Глава 7. Смотритель	38
Глава 8. Эно	44
Глава 9. Десять конвертов	49
Глава 10. Моё имя	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Оксана Волкова

Ноль (00:00)

Пролог

Часы у меня в кармане стоят на без двадцати пять.

Они встали давно, и я их не заводжу: тот, кто заводил, делал это по вторникам, и вторников больше нет.

Каждое утро я открываю крышку и смотрю. Не на время — время у них одно и то же. Смотрю затем, что рука уже потянулась: привычка держится дольше, чем то, ради чего она заведена.

* * *

Уходило из меня по капле, и в этом всё дело.

Разом — я заметил бы в первый же день. Кусками — сосчитал бы, чего не хватает.

По капле не считается.

Сперва ушли даты. Потом имена. Потом лица. Последними ушли дни: они слиплись в один длинный серый день, и в нём ничего не происходит.

Убыли не замечают, пока не дойдут до дна.

* * *

Я стою на мостках.

Тут семь досок, и седьмая мокрая всегда.

Вода под ними чёрная и не замерзает даже в мороз. Она держит в себе всё небо, до последнего облака. Меня не держит: я наклонялся ниже, чем можно, и своего лица там нет.

* * *

Одно у меня осталось, и это не воспоминание, а его обломок.

Женщина протягивает мне кружку с водой. Я стою на морозе с пустыми руками, от кружки идёт пар, и руки у неё дрожат.

Ей от меня ничего не нужно.

Это и застряло. От меня всегда чего-нибудь хотели, и всякий раз я знал чего, и оттого забывал их всех.

Ни лица её, ни имени я не помню. Помню пар и то, что дрожали руки.

Память оставляет не главное. Она оставляет то, за что ещё можно удержаться.

* * *

Считать я умею. Это осталось тоже — не памятью, а тем, чем держат равновесие.

Раз, два, три, четыре. На четвёртом всегда чуть медлит, будто цепляет, и дальше идёт ровно до следующей четвёрки.

Так я считал восемь зим подряд, стоя на этих досках и глядя вниз, и всякий раз досчитывал до конца и уходил домой.

* * *

Сегодня я стою на седьмой доске.

Можно остаться и досчитать себя до нуля. Это легко и не больно: убыль идёт сама, делать для неё ничего не надо, и никто ни о чём не спросит, потому что спрашивать давно некому.

Так я и жил все восемь.

А можно шагнуть.

Не в воду.

Обратно.

* * *

Начать помнить, зная, что каждое имя жжёт. Начать быть кем-нибудь, когда проще всего уже не быть никем. Заплатить за это тем немногим, что осталось, — и не выторговать взамен ничего.

* * *

Говорят: последнее, что теряет человек, — самого себя.

Я решил проверить, правда ли это.

И заплатить за проверку собой.

Часть первая. Счёт

Глава 1. Замок

Я узнала конверт по запаху раньше, чем увидела его.

Мокрая бумага. Тот особый запах, что остаётся у волокна, пролежавшего зиму в нетопленном помещении: сырость въедается в толщу, лист набухает, а потом сохнет неровно и держит холод в себе годами. Так пахли письма отца. Так пахла сумка Соль, когда она ставила её на пол между нами. Так пахнет всё, что приходит из Дома писем, — даже если пролежало три недели в сухой комнате, на полке, под завязанными тесёмками.

Я стояла в дверях кухни с мокрыми после душа волосами и не входила.

Конверт лежал посередине стола.

* * *

Первое, что я сделала, — не подошла.

Я работаю в архиве двенадцать лет, и первое правило описи в том, что предмет нельзя трогать, пока не описано его положение. Я стояла и смотрела, и заносила в память то, что потом всё равно окажется важнее моих выводов.

Конверт лежал длинной стороной параллельно краю столешницы. Отступ от края — ладонь. Клапаном вверх. Он чуть сдвинул тарелку, на которой я ела вчера, и тарелка стояла теперь наискось, а кружка рядом с ней — на месте, и в кружке на дне высох чай, и по этому кругу я могла бы сказать, что кружку не двигали.

Тарелку двигали. Конверт лёг после неё.

Вода стекала с волос за воротник, и я чувствовала холодную дорожку между лопаток, и не двигалась.

Три недели назад я положила этот конверт в папку. Я помню тесёмки в пальцах, помню, как затянула узел — тот самый, которым завязываю всё, что не должно быть открыто без меня. Помню, как поставила папку на полку, корешком наружу, ровно, чтобы она не выступала из ряда.

Я не помню, чтобы брала её оттуда.

* * *

Он был вскрыт.

Не надорван с угла, как рвут нетерпеливые. Не вспорот поперёк, как вскрывают на почте. Вскрыт вдоль клапана, тонким лезвием, одним движением от угла до угла.

Я наклонилась над столом, не касаясь.

Разрез был идеальный. Ни заусенца на кромке, ни того едва заметного излома волокна, который остаётся, если нож пошёл вторым заходом. Тот, кто вскрывал, не примерялся. Не остановился на середине. Вошёл лезвием под клапан и провёл до конца, коротко и сухо, как делают, когда за плечами тысяча конвертов.

Я знала это движение.

Я делала его каждый день. Я делала его в архиве, за своим столом, под лампой с треснувшим абажуром, и рука моя знала длину этого разреза без линейки.

Так вскрывают все, кто работает с бумагой, — сказала я себе.

И пошла проверять дверь.

* * *

Замок был цел.

Я осмотрела его так, как осматриваю чужое: сначала на просвет, потом пальцем. Личинка без задиров. Скважина сухая — если бы в неё лезли отмычкой, на кромке остался бы метал-

лический блеск, свежий, светлее остального. Я знаю, как это выглядит, я описывала вскрытые квартиры.

Ключ торчал изнутри. Я оставляю его так каждую ночь, чтобы не искать в темноте.

Щеколда — без единой царапины.

Окна на шпингалетах, все три. Подоконники сухие. Я провела ладонью по каждому, и на ладони осталась только пыль, ровная, нетронутая, — та пыль, которая ложится неделями и по которой видно, что её не трогали.

Ванная. Спальня. Прихожая. Кухня.

Ничего.

В квартире не было ни одного следа человека, кроме меня.

* * *

Я вернулась и взяла конверт в руки.

Он был лёгкий. Плотная желтоватая бумага, волокно проступает на просвет, углы обмяты не от небрежности, а от того, что вещь несли у тела. Я перевернула его.

На обороте, там, где ставят печать, стояла надпись.

Синий карандаш. Твёрдый нажим, короткие петли, правый наклон, буквы отдельные — рука человека, который пишет редко и не сомневается в написанном.

Я знала эту руку. Я встречала её на полях реестра в Доме писем. На обрывке корешка. На обороте снимка, поверх старого слова.

Остался ещё один носитель.

Я держала конверт на весу и смотрела на эти пять слов, и вот что было в них невозможного.

Их там не было.

Три недели назад я стояла на пороге архива, и в коридоре не было никого, и я подняла конверт с пола, и он был тёплый. Я осмотрела его — обе стороны, все четыре угла, клапан, кромку. Так, как осматриваю всё. На обороте была только вдавленная окружность: часы, положенные стеклом вниз. Без двадцати пять.

Оттиск был и теперь. Он никуда не делся.

Надпись легла поверх него.

* * *

Я открыла конверт.

Внутри лежала фотография. Я знала, что там лежит, и всё равно достала её и посмотрела, потому что описи не верят на память.

Шестеро детей у стены. Серый свет из окна под потолком. Промежутки между ними — в две ладони, ровные, как расставляют не дети, а взрослый.

Я сосчитала их, потому что я считаю всё.

Раз. Два. Три. Четыре.

Пять. Шесть.

Шесть.

Я перевернула карточку. Оттиск в правом верхнем углу. Посередине — строка синим, той же рукой:

осталось двадцать семь

И ниже, отдельно, другим почерком — торопливым, с обрывом на последней букве:

остался ещё один носитель

Я положила фотографию на стол рядом с конвертом и посмотрела на две одинаковые фразы, написанные разными людьми.

На карточке — тем, кто торопился.

На конверте — тем, кто метил синим.

Один повторил за другим. Или один научился писать за другого.

* * *

Я пошла к полке.

Папка стояла на месте. Корешком наружу, ровно в ряду, не выступая. Я сняла её и держала в руках, и не сразу решилась посмотреть на узел.

Узел был мой.

Не похожий на мой — мой. Двойная петля с перехлёстом внутрь, короткий конец влево. Я завязываю так с двадцати трёх лет, с тех пор, как поймала практиканта на чужой описи, и никто в архиве не научился повторять это так, чтобы я не увидела. Тесёмки лежали в тех же складках, притянутые до того же места; на одной оставался старый залом, и залом был на прежнем миллиметре.

Папку не развязывали.

Я потянула конец, и узел распустился легко, как всегда, и внутри было пусто.

Я стояла с пустой папкой в руках посреди своей запертой квартиры и понимала простую вещь, от которой некуда деться.

Чтобы вынуть конверт, папку надо было развязать.

А потом завязать снова. Моим узлом. С моим заломом на том же месте.

* * *

Вечером я взяла синий карандаш.

Он лежал в ящике стола, слева, рядом с ручкой отца. Гладкий, шестигранный, коротко и косо оточенный — не лезвием, а ножом, кто-то точил его от себя, торопясь. Грифель редкого холодного оттенка, который я не встречала в канцелярских наборах.

Я не помню, чтобы покупала его.

Я держала его в руке и перебирала, откуда он взялся в моём ящике. Магазин. Работа. Север. Ни одно не подошло. Я положила карандаш на стол и занялась делом.

Дело у меня было простое.

В архиве, когда документ нельзя изъять, а надо знать, трогали ли его, ставят контрольный контур: обводят предмет по краю на подложке и оставляют так. Если лист сместился хоть на волос — контур покажет.

Я положила конверт на прежнее место, отмерив от края ладонью, и обвела его по периметру.

Карандаш шёл по дереву мягко и оставлял линию плотную, немного жирную, с той характерной синевой, которая на светлом дубе смотрится почти чёрной. Я вела медленно. Углы вывела в стык.

Потом я села напротив и долго смотрела на синий прямоугольник, из которого торчал белым конверт.

Потом я подписала контур с внешней стороны, как подписываю подложку в архиве: дата, время, моя рука.

Это была работа. Работу я делаю одинаково везде.

* * *

Перед тем как лечь, я достала часы.

Они лежали у меня в кармане с Севера и не покидали его: я перекладывала их из пальто в пальто, из брюк в брюки, не думая, как перекладывают ключи. Корпус потёртый, крышка тугая, стекло с кривой царапиной от восьми часов к двум.

Я поднесла их к уху.

Они шли.

Я сидела на краю кровати и слушала ход, и до меня медленно доходило то, что должно было дойти давно.

Эти часы — механические. Завод у них на сутки, от силы на полтора. Если такие часы не заводить, они встают к следующему вечеру, и я знаю это не хуже любого часовщика, потому что описывала мастерские и переписывала их содержимое построчно.

Прошло три недели.

Я держала на ладони вещь, которую кто-то заводил двадцать один вечер подряд, и не могла вспомнить ни одного оборота головки. Ни щелчка. Ни того сопротивления пружины на последних витках, которое ни с чем не спутаешь, если хоть раз держал в руках заводные часы.

Я положила часы на тумбочку, стеклом вниз, и погасила свет.

* * *

Ночью я слушала квартиру.

Трубы. Вентиляция на кухне. Дерево остывает и потрескивает, и треск идёт по кругу, от окна к двери, всегда в одну сторону. За три недели я выучила все звуки этого дома, и чужого среди них не было.

Я сплю плохо. Просыпаюсь от шагов на лестнице, от лифта, от того, как внизу хлопает подъездная дверь. С Севера я не спала больше четырёх часов подряд ни разу.

Значит, я должна была услышать.

Человек не входит в квартиру беззвучно. Человек дышит, задевает косяк, переносит вес с ноги на ногу, и половица под ним отвечает. Я лежала и перебирала звуки, которых не было.

Потом я стала считать.

Раз. Два. Три. Четыре.

Я делаю это с тех пор, как себя помню, и всегда останавливаюсь на четвёртом. Не на пяти, не на десяти. Дойдя до четырёх, я начинаю заново. Так заведено, и до этой ночи я ни разу не спросила, кем.

Раз. Два. Три. Четыре.

Считать до четырёх меня кто-то научил. Я перебрала всех, кто мог, — и не нашла никого.

* * *

Утром конверт лежал в стороне.

Не там, где я его оставила. Сантиметров на десять правее и ближе к краю, наискось, углом к синей линии.

А контур был пуст.

Я стояла над столом и смотрела на пустой синий прямоугольник, внутри которого ничего не было, и на белый конверт рядом с ним, и это было первое за утро, что я поняла отчётливо: контур сработал. Прибор дал показание. Предмет двигали.

Значит, кто-то был.

Я проверила дверь. Заперта, ключ изнутри. Окна. Пыль на подоконниках. Я обошла квартиру дважды, потом третий раз, уже понимая, что ничего не найду.

Я вернулась на кухню, села и записала в журнал — я веду журнал, я всё веду в журнал:

Конверт смещён вправо от контрольного контура на десять сантиметров. Контур цел. Следов проникновения нет.

Потом я взяла конверт с собой.

* * *

В архиве было пусто до девяти. Я села за свой стол, зажгла лампу и опустила абажур низко, почти на сукно, чтобы свет пошёл вдоль поверхности.

Так смотрят бумагу, когда хотят увидеть не написанное, а нажатое.

Я положила конверт оборотом вверх и повернула его боком к лампе.

Синие буквы поднялись из бумаги тенями — каждая со своим гребнем и своей канавкой, и по глубине канавки я видела, где рука шла медленнее, а где отпустила. Всё как обычно. Всё как в сотне заключений, которые я подписала.

А потом я увидела то, что было под ними.

Волокно держало отпечаток поверхности, на которой лежал конверт, когда на нём писали. Бумага такой плотности берёт этот след только при сильном нажиме и только с шершавого. Свет вдоль поверхности вытянул его весь: параллельные полосы, идущие наискось к строке, широкие, с двумя близко сдвинутыми линиями и характерным раздвоением у левого края.

Дерево. Дуб, вдоль волокна.

Я сидела с конвертом у лампы и смотрела на этот рисунок и узнавала его так же безошибочно, как узнают почерк.

Раздвоение у левого края. Две сдвинутые линии. Я вижу их каждое утро, пока пью чай, — они выходят из-под кружки и уходят под тарелку.

Я ела за этим рисунком вчера.

Надпись сделали на моём кухонном столе.

* * *

Я просидела так до девяти, пока не пришли остальные и не начался обычный день: описи, формуляры, чужие квартиры, оставшиеся без хозяев. Я работала ровно. Я даже пообедала.

Вечером я вернулась домой, вошла на кухню, зажгла свет — и не увидела на столешнице ничего, кроме дерева.

Контур не было.

Я подошла. Я наклонилась так низко, что почти легла щекой на стол, и смотрела вдоль поверхности, на просвет, ловя блик. На дубе остаётся всё. Карандаш садится в поры, и его можно стереть, но нельзя убрать бесследно: остаётся тень, остаётся вмятина от нажима, остаётся полоса, где лак затёрт сильнее.

Ничего.

Столешница была гладкой и однородной, и на ней не было ни тени, ни вмятины, ни затёртой полосы. Она была не вытерта. Она была чистой — так, будто я никогда не касалась её карандашом.

Конверт лежал посередине.

Я открыла ящик. Синий карандаш лежал слева, рядом с ручкой отца, как всегда. Я взяла его — он был холодный. Я посмотрела на грифель: косой срез, ровный скол.

Он не сточился ни на волос.

* * *

Я села на пол, прислонившись спиной к стене, и просидела так, пока за окном не сделалось совсем темно.

Потом я встала и пошла проверить дверь.

Я взялась за щеколду — и остановилась.

Щеколда была стёрта.

Не поцарапана — стёрта. На чёрной краске, в том месте, где ложится подушечка большого пальца, проступил металл. Светлое пятно с размытым краем, вытертое до основы, чуть вытянутое книзу, как вытирается всё, к чему прикасаются одним и тем же движением.

Я знаю, как читаются такие следы. Я описывала их сотнями: по ним определяют, сколько лет ручкой пользовались, кто в доме был левшой, каким ключом отпирали чаще. Краска такой толщины не сходит от десяти касаний. И от ста не сходит.

Я стояла и считала — по-настоящему, как считаю в описи, с поправкой на нажим и на то, что палец у меня сухой.

Выходило, что за эту щеколду брались каждый вечер. Несколько недель подряд. Может быть, по несколько раз за вечер.

Я держала палец на голом металле, и он ложился точно в пятно, потому что пятно было моё.

Я не помнила ни одной проверки.

* * *

Я вернулась на кухню, взяла карандаш и снова обвела конверт по краю.

Линия легла ровно. Углы в стык.

Я не знала, зачем делаю это, если утром её не будет. Я знала только, что сделаю это снова — завтра, и послезавтра, и через день, — потому что человек, у которого забирают память, держится не за память. Он держится за порядок действий.

Обвести. Проверить замок. Сосчитать до четырёх.

Раз. Два. Три.

Я села за стол и стала ждать утра, и мне впервые пришло в голову, что я не помню, сколько раз уже сидела так, за этим столом, над этим синим прямоугольником, в эту самую ночь.

И что, если бы кто-то входил сюда каждую ночь, я не смогла бы этого доказать.

Как не смогла бы доказать и обратного.

Глава 2. Похороны Ноэля

Хоронили восемь человек, и за час я слышала восемь имён.

Я считаю всё, и на кладбище считать оказалось нечего, кроме этого. Гроб был один. Венков не было. Людей — восемь, включая меня, и стояли они не группой, а порознь, как стоят те, кто пришёл по отдельным причинам и не знает друг друга в лицо.

Первым сказал мужчина в коротком пальто, с непокрытой головой.

— Ноэль, — сказал он. — Он мне поменял пружину, когда все отказались.

— Том, — сказала женщина рядом. — Он у нас в доме заводил бабушкины часы. Каждый вторник, одиннадцать лет. Бабушки нет шесть, а он всё ходил и заводил.

Мужчина посмотрел на неё и не стал спорить. Так не спорят на кладбище.

— Виктор, — сказал третий, глухо. — Он подписывался «Виктор» на квитанциях. У меня две дома лежат.

— Марек, — сказала худая женщина в платке. — Меня мать посылала к Мареку, я была маленькая.

— Тимо, — сказал юноша, стоявший дальше всех. Он произнёс это неуверенно и добавил: — Так его называла соседка.

Дальше пошли не имена.

— Часовщик, — сказал шестой и пожал плечами. — А как ещё.

— Мастер, — сказала седьмая.

Восьмой был совсем стар и держался за ограду.

— Дядя Но, — сказал он. — Мы так звали его мальчишками. Он и тогда был при часах. Я стояла и считала.

Ноэль. Том. Виктор. Марек. Тимо. Часовщик. Мастер. Дядя Но.

Восемь.

* * *

Я задала один вопрос — тот, который задают в архиве, когда сведения расходятся.

— Кто из вас видел его документ?

Никто не поднял руки.

Женщина в платке сказала, что у него не было документа. Мужчина в коротком пальто сказал, что документ был, но он его не видел. Юноша сказал, что не спрашивал. Остальные молчали.

Так бывает часто. Человека знают по вывеске, по двери, по тому, что он делает, и уходят от него с квитанцией, на которой стоит не имя, а подпись. Я описывала таких людей десятками. Обычно к ним прилагается хотя бы одна бумага с полным написанием.

Здесь не было ни одной.

Я подошла ближе к гробу. Крышку уже опустили. На ней не было ни таблички, ни венка — только полоска сырого снега вдоль края, натаявшая и подмёрзшая заново.

— Вы знали его? — спросила женщина, которая назвала его Томом.

— Знала, — сказала я. — Как Ноэля.

— Вы уверены?

Я подумала, прежде чем ответить, потому что вопрос был правильный.

— Нет.

Она кивнула так, будто получила подтверждение.

— Никто не уверен, — сказала она. — Мы тут все с разными.

* * *

Человека с бумагой я заметила не сразу.

Он стоял в стороне, у дорожки, в форменном пальто без знаков, и ждал, когда закончится то, что не имеет расписания. Когда стали расходиться, он подошёл ко мне первой и назвал меня по фамилии.

— Вам, — сказал он и достал папку.

В папке лежал бланк. Обычный, разлинованный, с типографской шапкой: акт передачи личной вещи умершего лицу, указанному в распоряжении. Я такие видела с другой стороны стола — я их заполняю сама, когда за вещью приходят.

Он повернул бланк ко мне, чтобы я читала не вверх ногами. Это делают редко и означает вежливость либо привычку.

Графы шли по порядку.

Вещь: часы карманные, металл, крышка глухая. Одна штука.

Основание выдачи: распоряжение от руки.

Лицо, указанное в распоряжении: — и дальше моя фамилия и моё имя, целиком, без сокращения.

Дата составления распоряжения: — и число.

Я прочитала это число дважды.

Распоряжение было составлено весной. За четыре месяца до того, как я вернулась с Севера. За два — до того, как я вообще туда поехала.

— Он оставил это заранее, — сказал человек в пальто. Не вопрос, а пояснение.

— Вы видели, как он писал?

— Я принимаю, а не смотрю.

Он подал мне ручку и показал пальцем, где расписаться. Я расписалась, и он отделил корешок, и корешок отдал мне, а лист забрал себе. Так и положено. Так делаю я.

— Одна вещь? — спросила я.

— В распоряжении одна.

— А мастерская?

— Мастерская — не вещь, — сказал он. — Мастерская — помещение. Это другой отдел.

— Ещё одно, — сказала я, когда он уже убирал папку. — Кто заказывал похороны?

Он ответил не сразу, и ответил тем голосом, каким отвечают на лишний вопрос, если спросивший расписался в графе и потому имеет право.

— Никто. Оплачено вперёд.

— Кем?

— Им самим. — Он застегнул папку. — Одиннадцать лет назад, полным взносом, с указанием разряда и без указания даты. Такое проходит через нас раз в несколько лет, обычно у одиноких. Он взял разряд третий, самый простой, и доплатил отдельно за то, чтобы место было у ограды.

— Почему у ограды?

— В распоряжении сказано: чтобы было слышно улицу.

Он ушёл по дорожке, и снег под ним скрипел ровно, без сбоя, как ходят люди, которым не о чем думать по дороге.

* * *

Часы он отдал мне в руку, без коробки, без тряпицы.

Они были тёплые.

Я стояла на кладбище, в середине дня, при снеге, который не таял на плечах, и держала на ладони металл, нагретый до тепла живого тела. Не тёплый, как бывает тёплой вещь из внутреннего кармана: та отдаёт тепло сразу и через минуту становится общей с воздухом. Эти держали своё.

Я переложила их из руки в руку и подождала.

Не остыли.

Корпус был потёртый, крышка глухая, без стекла — такие открывают нажатием, и открывать её я не стала. Я знаю, что у меня в кармане лежат другие часы и что на них написано не время. Дважды за месяц я смотрела на чужой циферблат и получала показание вместо часа, и второй раз мне хватило.

Я убрала часы Ноэля во внутренний карман, отдельно от отцовских, и застегнула пуговицу.

* * *

До мастерской я дошла пешком.

Дверь была та же: стеклянная, без звонка, восемь ступеней вниз. На стекле изнутри белела старая бумажка его рукой — про батарейки, которые он не меняет.

Поперёк дверного полотна и косяка была наклеена печатающая лента, бумажная, с оттиском и подписью.

Я осмотрела её так, как осматриваю всё.

Лента лежала ровно, без пузыря, без подрезки по кромке, без второго слоя. Клей взялся насухо и уже пожелтел по краю, а такое желтение идёт с неделю, не меньше. Если бы ленту снимали и клеили заново, бумага дала бы волокно на разрыве и легла бы с перекосом: снять и посадить обратно ровно нельзя, я пробовала на своих делах, когда училась.

Никто не входил через дверь после того, как её опечатали.

Я стояла и слушала.

Через стекло, через ленту, через восемь ступеней слышался ход.

* * *

Ход я слышала раньше, чем нашла способ войти.

С торца, в подвальном приямке, было окно — узкое, в одну створку, с фрамугой на крючке. Крючок сидел в проушине неплотно; я подцепила его сквозь щель, и фрамуга пошла внутрь. Я спустилась, села на подоконник, и запах поднялся ко мне снизу: масло, металл, и тот сухой сладкий дух, что стоит там, где годами работают с мелким.

Я спрыгнула на пол мастерской.

Внутри было темно и полно звука.

Двенадцать часов шли.

Они стояли на верхней полке, отдельно от чинимых, — те самые, которые ему приносили и просили держать. Круглые и квадратные, вокзальные и дамские, в дереве и в потемневшем серебре. Я подошла и стала слушать, и то, что я слышала, было не гулом.

В первый раз, месяц назад, вся комната гудела и отдельного тиканья было не различить: он заводил всё и держал в общем ходу. Теперь общего хода не было.

Они шли врозь.

Каждые в своём ритме, каждые чуть впереди или чуть позади соседних, и в этой разнице не складывалось ни одной пары. Двенадцать ритмов, ни один не совпадает ни с одним, и ни один не сбивается. Так не бывает у механизмов, стоящих рядом на одной доске: их всегда стягивает в общий ход, это знает любой, кто держал две пары часов на одной полке.

Эти не стягивались. Они держались врозь, как держатся врозь люди, пришедшие на похороны по отдельным причинам.

Я сосчитала их дважды, потому что первый раз не поверила счёту.

Двенадцать. Все идут.

* * *

Дальше я стала считать не часы, а дни.

Он заводил их по одному дню недели на каждые. Он сам мне это сказал, стоя у полки, не оборачиваясь: каждые часы — раз в неделю, каждым свой день. Значит, у любых из них между двумя заводами лежит семь суток, и завод рассчитан ровно на этот срок, с малым запасом на человеческую забывчивость.

Ноэль умер восемь дней назад.

Я сняла с гвоздя его бумажку с расписанием.

Она была разграфлена от руки, по линейке, и держалась на гвозде так долго, что бумага вокруг прокола обмялась в воронку. Двенадцать строк, по строке на каждые часы. Первый столбец — номер. Второй — день недели. Третий — кто принёс.

Одиннадцать строк были заполнены целиком.

Седьмая — нет.

В столбце дня у неё стояла среда, вписанная и потом обведённая, как обводят то, к чему возвращаются. В столбце «кто принёс» — прочерк: не пусто, а именно прочерк, поставленный рукой, которая решила не писать имени и не захотела оставить графу открытой.

Ниже, поперёк строки, мелко, его почерком:

не заводить

Не «не заводил». Не «заводит владелец». Распоряжение, оставленное себе самому, — так пишут, когда боятся забыть и сделать по привычке.

Я провела пальцем по столбцам.

Ни одни из двенадцати не могли идти. Последние по очереди должны были встать вчера. Первые — шесть дней назад.

Я стояла в темноте, под двенадцать несовпадающих ритмов, и складывала простое.

Дверь опечатана и не вскрыта. Окно я открыла сама, и крючок был на месте, а на подоконнике изнутри лежала пыль, ровная, без мазков, — по ней никто не входил. Заводить было некому, и завод кончился у всех.

Они шли.

* * *

Седьмые я оставила напоследок.

Не по храбрости, а по порядку: седьмые всегда идут седьмыми, и в описи их место седьмое.

Месяц назад они стояли. Секундная прижималась к минутной, будто её придержали, и на циферблате стояло число, которое я записала себе в блокнот и потом потеряла во льду. Их не заводил Ноэль. Их заводил тот, кто принёс, — раз в неделю, своей рукой, восемь лет, по средам. Он перестал приходить, и в ту же неделю они встали.

Он просил не заводить их за него. Пусть встанут.

Теперь они шли.

Стрелки стояли не там, где я их оставила. Секундная отошла от минутной и шла ровно, по своему кругу, ни быстрее ни медленнее прочих. Минута, которую держали восемь лет, была сдвинута, и сдвинута она была не на много: настолько, насколько уходит стрелка за несколько суток хода.

Я не стала смотреть, что на них теперь. Я отвела глаза раньше, чем прочитала.

Смотреть на чужой циферблат — значит получить число. Числа я в этом месяце получала достаточно, и все они шли вниз.

* * *

Я сделала то единственное, что умею делать с предметом, о котором ничего не могу сказать.

Я взяла с верстака мягкий карандаш — не синий, обычный графитный, из стакана с инструментом, — и обвела основания всех двенадцати корпусов по войлоку, которым застелена полка. Двенадцать контуров, один за другим, слева направо. Войлок берёт графит плохо, но след держит.

Потом я сдвинула седьмые: на волос вправо, так, чтобы задняя кромка вышла из контура.

Если завтра они вернутся в свой след, я это увижу.

Я записала на корешке акта, который отдал мне человек в пальто, — писать больше было не на чем:

Двенадцать в ходу, восьмой день без завода. Ход несинхронный, устойчивый. Седьмые сняты с прежней минуты. Метки поставлены.

Ниже я вывела время — не по чьему-то циферблату, а по стенным, тем большим и простым, по которым он сверял всю мастерскую.

Стенные стояли.

Я посмотрела на них дольше, чем следовало. Единственные часы в комнате, которые заводил он сам, для себя, чтобы знать час, — единственные, которые встали, когда он умер.

Всё чужое здесь шло. Своё встало.

* * *

Перед тем как уйти, я взяла с верстака книжку квитанций.

Она лежала на углу, придавленная лупой, растрёпанная сверху и тугая снизу. Корешки остаются в книжке, лист уходит заказчику — так у всех, кто работает за наличные и в одиночку.

Я пролистала её от конца к началу и стала смотреть не суммы, а подписи.

На верхних корешках стояло одно и то же короткое, с петлёй вверх. Ниже, через десяток листов, — другое, длиннее, с двумя горбами. Ещё ниже — третье. Я разложила книжку веером и прошла до самого низа, до листов, где чернила ушли в бурое.

Восемь разных подписей.

Не восемь почерков — почерк был один, я это увидела сразу, по нажиму и по тому, как у него уходит вниз последняя буква. Восемь разных подписей одной руки.

Человек не расписывается по-разному от небрежности. Он расписывается по-разному, когда каждый раз подписывается кем-то другим.

Восемь имён на кладбище были не путаницей соседей. Он раздал их сам, по одному, и каждому оставил своё.

Я положила книжку обратно под лупу, ровно как лежала.

* * *

Я вылезла тем же окном и накинула крючок обратно через щель.

Наверху был ранний вечер, и снег шёл гуще, чем днём. Я поднялась на восемь ступеней к стеклянной двери, проверила ленту снаружи ещё раз — целая, ровная, без второго слоя, — и пошла к остановке.

На середине улицы я остановилась и расстегнула пуговицу.

Часы Ноэля лежали во внутреннем кармане там, где я их оставила. Я взяла их в ладонь, и ладонь у меня к этому времени была совсем холодная: я шла без перчаток: они остались на верстаке, и возвращаться за ними я не стала.

Металл был теплее моей руки.

Не одинаковой с ней температуры. Теплее.

Я сжала их в кулаке и стояла так, пока не поняла: если держать долго, теплее становится не металл. Теплее становится рука.

Я разжала пальцы и посмотрела на глухую крышку, которую не открыла ни разу.

Раз. Два. Три. Четыре.

Я убрала часы обратно, застегнула пуговицу и пошла дальше, и всю дорогу до дома в левом внутреннем кармане у меня лежали двое часов: одни — те, что я ношу и не открываю, и вторые — те, что грелись о меня, а грели меня сами.

Глава 3. Футляр

Часы Ноэля весили больше, чем должны были весить.

Я поняла это не сразу и не умом. Я несла их от кладбища во внутреннем кармане, и на второй день карман стал оттягивать не так, как оттягивает вещь такого размера. Мелочь я ношу в правом, ключи в правом, а слева у меня лежат отцовские часы, и вес их я знаю ладонью, как знают вес собственной руки.

Эти были тяжелее. Немного. На то, на что бывает тяжелее вещь, в которой лежит лишнее. Вечером я расчистила стол.

Клеёнка, бархотка, лампа на струбине. Инструмент у меня свой, домашний: я купила его много лет назад и держу дома, потому что бумага не разбирает, рабочий день или нет. Пинцет, отвёртки, лупа в оправе, кисточка из барсука. Разложила в том порядке, в каком беру, и только потом положила часы посередине, крышкой вверх.

Крышка была глухая. Я не открывала её ни разу.

* * *

Сначала я взвесила их так, как взвешивают в описи, когда весов нет.

Ладонь против ладони: в левой — часы Ноэля, в правой — отцовские. Обе руки на весу, локти на столе. Держать надо долго, пока рука не устанет одинаково, и тогда разница проступает.

Она проступила.

Разница была невелика — с монету, может, с две. Корпуса у обоих одного порядка: латунь, глухая крышка, потёртая до желтизны на кромке. Механизмы такого размера отличаются по весу мало, и если одни часы тяжелее других на монету, то не потому, что механизм другой.

Я записала это на листе, прежде чем открывать. Так положено: сперва то, что установлено до вскрытия.

Вес выше сопоставимого. Причина не установлена.

Потом я нажала на головку, и крышка отошла.

* * *

На циферблате стояло не время.

Стрелки держались коротко разведённые, одна почти над другой, и складывались они в число, которого не бывает у вечера.

00:31

Я сидела и смотрела на них, и рука сама пошла к блокноту, потому что за ту зиму рука выучилась раньше меня. За тот месяц чужие приборы показывали мне число пять раз: витрина мастерской, вокзальное табло, градусник в Доме писем, наледь на стекле, счётчик. Всякий раз рядом стоял человек, для которого на приборе было ровно то, что должно быть, — градусы, час, рейс.

Ряд шёл вниз. Я выстраивала его столбиком и знала последнее, чем он кончался тогда. Это было меньше.

Меньше последнего, и меньше заметно, и это было первое показание с тех пор, как я вернулась.

Я не стала считать, чей это остаток. Один раз я уже посчитала, и посчитала неверно.

* * *

Я перевернула часы и открыла заднюю крышку.

Она подалась с сухим щелчком, каким подаётся хорошо пригнанная створка. Внутри всё было на местах: баланс качался, колёса стояли, где им стоять, волосок дышал ровно. Меха-

низ был чистый, недавно перебранный, без пыли по углам, и это тоже я записала, потому что чистый механизм у мёртвого человека означает, что за ним ходили до последнего.

Лишнего внутри не было.

Я взяла лупу и прошла по краю — по тому узкому месту, где механизм садится в корпус. У хороших часов этот стык глухой. Здесь он был неглухой: между кромкой механизма и стенкой корпуса шла тонкая, ровная щель, и щель эта была одинаковой по всей окружности.

Механизм сидел выше, чем должен.

Его что-то подпирало снизу.

* * *

Вынимать механизм из корпуса я умею плохо. Я это делаю раз в несколько лет и всякий раз вспоминаю заново.

Держатся такие механизмы на двух винтах с внутренней стороны, и винты эти маленькие, с широким шлицем, и отвёртка к ним нужна тонкая. Я нашла подходящую с третьего раза. Первый винт пошёл легко, второй — с сопротивлением, и, когда он вышел, я поняла, откуда сопротивление: под шляпкой у него сидело волоконец бумаги, затянутое резьбой.

Волоконце было светлое, длинное, тряпичное.

Я сняла его пинцетом и положила на бархотку отдельно.

Потом я перевернула корпус над ладонью, и механизм вышел из футляра сам, целиком, и лёг мне в руку, продолжая идти.

На дне футляра лежал сложенный лист.

* * *

Прежде чем разворачивать, я вернулась к волоконцу, снятому из-под винта.

Оно было того же цвета и той же длины, что волокно по кромке листа: светлое, тряпичное, с характерной для такой бумаги мягкой перекруткой на конце. Я положила их рядом под лупой и сравнила на просвет. Одно.

Волоконце затянуло резьбой, а затянуть его туда мог только тот, кто закручивал винт при уже вложенном листе.

И затянуло не однажды. Резьба на этом винте была забита бумажной трухой по всей длине — та набивается слоями, за много оборотов, за много раз.

Лист вынимали и клали обратно. Не единожды. Годами.

Он был сложен так, как складывают, когда важно не помять середину: не вчетверо и не пополам, а в узкую полосу с двумя загибами внутрь, и потом полоса эта была подвёрнута по кругу, чтобы лечь по дну и не выступить за кромку.

Я вынула его пинцетом, за угол.

Бумага была старая, плотная, с длинным волокном, и на разрыве по краю она дала бахрому, а не пыль. Таковую бумагу я держала в руках дважды, и оба раза не в магазине.

Я развернула лист на клеёнке, придавив уголки, и отодвинула лампу так, чтобы свет падал сбоку.

На листе был столбец имён.

* * *

Их было двадцать девять.

Я сосчитала сверху вниз и снизу вверх, и оба раза вышло одно.

Имена стояли одно под другим, ровным столбцом, с одинаковыми промежутками, и промежутки эти были размечены заранее: по бумаге шла слепая линовка, продавленная тупым, без грифеля. Кто-то разграфил лист на двадцать девять строк прежде, чем в нём появилась первая запись.

Линовку я померила прежде, чем читать.

Продавлено было тупым концом, по линейке, в один заход: борозды шли параллельно, без сбоя нажима, с одинаковым шагом от первой до последней. Между ними не было ни одной

лишней и ни одной пропущенной. Тот, кто линовал, останавливался не тогда, когда кончилась бумага, — до нижнего края оставалось на четыре строки, — а тогда, когда набрал нужное.

Двадцать девять борозд. Двадцать девять строк.

Чернила первой записи лежали поверх борозды и садились в неё, а не рядом: значит, линовка была раньше. Насколько раньше — по бумаге не установить.

Установить можно другое. Число двадцать девять существовало до того, как в лист вписали первое имя.

Заполняли не сразу. Это видно по чернилам и по всему прочему, что видно.

Первые строки были выведены чернилами, ушедшими в бурый по краю штриха, — так уходят чернила за двадцать зим и больше. Ниже шли записи свежее. Ещё ниже — карандаш. Две строки были сделаны чем-то вроде химического: штрих расплылся в лиловое, и расплылся неровно, будто писали мокрым по мокрому.

И почерки были разные.

Не два и не три. Я прошла по столбцу с лупой, как хожу по образцам, и не нашла ни одной пары, которую могла бы свести в одну руку. Наклон, нажим, высота строчных, соединения, посадка на линию — всё расходилось. Взрослая рука, ещё взрослая, старая с дрожью на первом штрихе, торопливая с обрывом на последней букве, крупная, полудетская.

Каждый вписал себя сам.

Список не составлял никто. Список подписывали.

Одну руку я узнала.

Она стояла девятнадцатой: торопливая, с обрывом на последней букве, с нажимом, слабеющим к концу, — рука человека, который расписывается по многу раз на дню и давно перестал смотреть, что выходит. Я держала её в руках зимой, на развороте журнала холодного хранения, в графе, где расписываются за принятое.

Тот же обрыв. Та же спешка.

Я не стала выписывать эту строку отдельно и не стала её отмечать. Отметить — значит начать. К девятнадцатой строке я вернусь, когда дойду до девятнадцатой строки, а сначала идёт первая.

Так я себе сказала. Записала я всё-таки: карандашом, на полях своего листа, мелко, номер и слово «журнал».

* * *

Две строки были зачёркнуты.

Четвёртая сверху и одиннадцатая.

Линия шла слева направо, одним движением, чуть выше середины букв, — так вычёркивают в описи вышедшее, не пряча написанного. Обе линии были одного цвета: синего, редкого, холодного оттенка, который не встречается в канцелярских наборах.

Я поднесла лупу ближе.

Грифель оставил по краю линии крупинки — те самые, что осыпаются с мягкого стержня, если вести с нажимом. Крупинки лежали в волокне и не стёрлись, значит, зачёркнутое не трогали руками после.

Я видела этот цвет на полях реестра. На обрывке корешка. На обороте снимка, поверх старого слова. И — три недели назад — на собственном кухонном столе, вокруг конверта, который лежал не там, где я его оставила.

Я отвела лупу и посмотрела на свою руку.

Ногти были чистые.

* * *

Двадцать девятая строка была последней.

Я дошла до неё по столбцу, как дошла бы до последней графы в любой описи, и остановилась не потому, что узнала имя. Имя я прочитала после.

Сначала я увидела руку.

Буквы стояли крупные, круглые, с широким интервалом. Нажим ровный, без утоньшения на выходе, — так пишет тот, кто ведёт всю букву с одинаковым усилием, потому что ещё не умеет отпускать перо. Строка сползала вправо и вниз, и сползала не от края, а с середины, когда рука уставала держать высоту. Заглавная сидела выше строки на своё же полторы высоты.

Детская рука. Лет семи, может, восьми.

Потом я прочитала имя.

Оно было моё.

Написанное целиком, без сокращения. И в середине его стояла ошибка — одна буква, поставленная не та, которую я ставила потом всю жизнь.

Ту ошибку я делала. Я знаю, что делала: её исправляли мне долго, и я помню не сам процесс, а только то, что он был.

* * *

Я сидела и смотрела на своё имя, выведенное рукой, которой у меня больше нет.

По всем признакам, какие я применяю к чужим документам, эта рука была моей. Наклон. Интервал. Посадка на линию. Ошибка. Я могла бы написать заключение по этой строке за четверть часа и подписать его, и любой эксперт подписал бы следом.

Заключение установило бы одно: строку писала я.

И ничего сверх этого.

Почерк — это рука. Рука отвечает, кто держал перо. Рука не отвечает, зачем.

Я работаю с бумагой двенадцать лет и за двенадцать лет ни разу не встретила документа, по которому можно было бы установить, знал ли подписавший, что он подписывает. Такой графы нет. Её не бывает.

* * *

Перед оборотом я прошла лист косым светом.

По полю, поверх строк, лежал слепой отпечаток: окружность, вдавленная в бумагу ровно, по всей длине круга, с двумя короткими углублениями внутри. Одно длинное, уходящее влево и вниз. Второе короткое, вверх и чуть вправо.

Я видела это дважды.

На сером конверте, пришедшем ко мне зимой. На обороте снимка, положенного мне под дверь.

Оба раза я записала одно и то же: оттиск, будто сверху положили часы стеклом вниз, и стрелки на них стояли на без двадцати пять.

Я приложила механизм, лежавший тут же на бархотке, к отпечатку.

Он лёг в него весь. Кромка в кромку, ободок в борозду, и два углубления прились ровно туда, где у механизма выходят стрелки.

Никто не клал сверху часы.

Бумагу годами держали внутри часов, под механизмом, и механизм вдавливал в неё себя — так, как вдавливаются всё, что долго лежит под весом в закрытом. И минута, которую я весь тот месяц принимала за метку, была не меткой. Она была тем, что стояло на этих стрелках, когда лист ложился под них.

Я отставила лупу.

Тот, кто прислал мне конверт и снимок, не ставил на них печать. Он вынимал их из чужих футляров.

* * *

Лист я перевернула последним, потому что оборот всегда смотрят последним.

На обороте была запись. Одна, посередине, в три строки, почерком коротким и твёрдым, без лишних петель, с уходящей вниз последней буквой.

Этот почерк я узнала сразу. Я видела его на бумажке про батарейки, на расписании завода, на прочерке в седьмой строке.

Я не из них. Я только считал. Если часы встанут — значит, некому.

Я прочитала это дважды и во второй раз прочитала иначе.

Он не был в списке. Он не вписал себя ни в одну из двадцати девяти строк и не зачеркнул ни одной: линии были не его, и цвет был не его. Он держал лист, вёл счёт и заводил чужие минуты по своему расписанию, каждым свой день недели, — и делал это столько лет, сколько бумага держала на себе следы.

Он не выбирал этого. Он оказался рядом и не ушёл.

А в последней строке стояло условие.

Он поставил ход часов вместо себя. Пока часы идут — есть кому. Он не написал, что будет, когда встанут, потому что писать было нечего: тот, кто это прочтёт, поймёт сам.

Двенадцать часов в печатанной мастерской шли восьмой день.

Значит, было кому.

* * *

Я собрала часы обратно.

Механизм лежал на бархотке всё это время и всё это время шёл — я слышала его, пока читала. Я посадила его в футляр, попала обоими винтами с первого раза, притянула их и закрыла заднюю крышку.

Потом я перевернула часы и нажала на головку.

00:31

Стрелки стояли там же, где стояли час назад. Ни на деление, ни на волос. Механизм шёл, баланс качался, волосок дышал — и стрелки не двигались, и не двигались они не потому, что что-то сломано: сломанное я бы увидела на разобранном.

Я закрыла крышку и убрала часы в левый внутренний карман, к отцовским.

Лист я сложила по прежним загибам, вернула в те же складки и убрала отдельно, в правый.

* * *

Оставалось записать заключение, и я села его писать, и написала первую строку:

Установлено: строка двадцать девятая исполнена рукой заявителя.

Заявителем в наших бланках называется тот, кто пришёл. Я пришла сама к себе, и графа встала правильно.

Дальше полагается графа «обстоятельства исполнения».

Я держала ручку над ней долго.

По руке устанавливается всё: возраст, инструмент, поза, усталость, порядок штрихов. По руке устанавливается даже то, торопился ли пишущий и стоял ли кто-то рядом. Я умею это и делаю это за деньги.

По руке не устанавливается, соглашался ли ребёнок.

Я поставила в графе прочерк — тот самый, ровный, поставленный рукой, которая решила не писать и не захотела оставить графу открытой, — и отложила ручку.

Свою руку я узнала с первого взгляда.

Своего решения я не узнавала совсем.

Глава 4. Двадцать семь

Из двадцати девяти вычешь два — двадцать семь.

Это единственное действие, которое я в то утро выполнила без ошибки, и на него ушла секунда. Всё остальное заняло два дня и кончилось хуже.

Я переписала список набело.

Не с зачёркиваниями — без. Я взяла чистый лист, разграфила его сама, по линейке, на двадцать девять строк и перенесла имена одно за другим в том же порядке, своей рукой, ровным столбцом. Две строки, которые на подлиннике перечёркнуты синим, я вписала целиком, как вписывают все прочие.

Так делают, когда документ надо прочесть заново. Чужие пометы читаются раньше текста и заслоняют его; чтобы увидеть, что стоит на бумаге, пометы надо снять.

Я сняла их и посмотрела.

Двадцать девять человек. Один список. Ни шапки, ни заголовка, ни графы для чего бы то ни было ещё.

* * *

Проверять существование человека я умею. Это половина моей работы.

Живого проверяют по учреждениям, мёртвого — по бумагам, оставшимся после. Если человек прожил хоть сколько-нибудь, он оставляет след не в одном месте, а в десятке: домовая книга, читательский формуляр, книга актов, ведомость по найму, реестр не востребовавшего, картотека адресного стола. След может быть слабым, но он бывает всегда, и опытному человеку хватает двух совпадений, чтобы сказать: этот жил.

Я взяла с собой чистые карточки и вышла из дома в семь.

Первым было адресное бюро.

Женщина за стойкой посмотрела на моё удостоверение дольше, чем нужно, чтобы прочитать, и вернула его.

— Много, — сказала она, увидев столбец.

— Много.

— По одному будете спрашивать?

— По одному.

Она не спросила зачем. За стойкой быстро перестают спрашивать.

* * *

К вечеру первого дня у меня было одиннадцать.

Одиннадцать человек из списка существовали. Каждый оставил хотя бы два следа, и следы эти были обычные: съём жилья, перемена места, получение вещи по описи, запись в книгу читателей. Ничего, что отличало бы их от всякого другого.

На второй день прибавилось восемь.

Итого девятнадцать.

Я выписывала их на карточки, по человеку на карточку, и складывала стопкой, и стопка росла, и рост её был единственным, что за эти два дня шло правильно.

Потом стопка перестала расти.

* * *

На второй день ко мне подошла Дина.

Она принесла мне чай, которого я не просила, и поставила его на угол стола так, чтобы не на бумагу. За это ей можно простить многое.

— Ты записалась в зал на чужой шифр, — сказала она.

— Я записалась на свой.

— У тебя в графе номер дела, которого нет. — Дина не заглядывала в мои листы; она смотрела на меня. — Я не смотрю, что ты делаешь. Я веду журнал зала, и мне за него отвечать.

Я взяла карандаш и вписала в её журнал прочерк вместо номера, и расписалась рядом.

— Так можно, — сказала я. — Личный запрос сотрудника.

— Так можно, — согласилась она. — Так делают раз в пять лет.

Она постояла ещё немного и ушла, и чай я выпила холодным, через час, не заметив.

* * *

Оставшиеся десять не находились нигде.

Я проверила их по всем картотекам, до каких дотягивалась, и по трём, до каких не дотягивалась, — там мне читали вслух через стойку. Я проверила написание: переставила буквы, убрала мягкий знак, попробовала уменьшительные формы, попробовала иное окончание. Я подняла старые фонды, где карточки писаны от руки и разложены не по алфавиту, а по годам поступления, и прошла их подряд, потому что в старых фондах алфавит врёт чаще, чем годы.

Ни одного следа.

Не «сведения не сохранились» — этого я насмотрелась и знаю, как оно выглядит: пустая карточка с пометой об утрате, или ссылка на выбывший фонд, или запись, обрывающаяся на середине. Утрата оставляет по себе дыру, и дыра эта имеет форму.

Здесь формы не было. Здесь не было и дыры.

Я не нашла ни одного места, где эти десять человек должны были бы стоять и не стоят.

* * *

Тогда я вернулась к девятнадцати.

Я разложила их карточки веером и посмотрела не на то, что там есть, а на то, с чего каждая начинается.

Самый ранний след у первого — съём жилья. У второго — получение вещи по описи. У третьего — перемена места. У четвёртого — запись в книгу читателей.

Я выписала возраст, в котором появляется первая запись, и выстроила столбиком.

Шестнадцать. Семнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Семнадцать.

Ни у одного из девятнадцати не было ни одного следа раньше шестнадцати лет.

Так не бывает. У человека, выросшего среди людей, детство оставляет больше бумаг, чем взрослая жизнь: прививочная карта, школьный список, библиотечный формуляр на детский абонемент, отметка в домовое у родителей. Всё это лежит по разным местам и утрачивается по-разному, и утратить его целиком у девятнадцати человек разом нельзя.

Значит, не утратили.

Значит, до шестнадцати лет их не было ни в одной книге, куда пишут людей.

Я посмотрела на свою стопку и впервые за два дня отодвинула её от себя.

* * *

Тогда я стала смотреть не в картотеки, а в сам список.

Разница проступила сразу, стоило искать её, а не имена.

У девятнадцати имя стояло полностью: имя и фамилия, как пишут, когда подписывают что-нибудь важное и знают, как это делается.

У десяти стояло одно имя.

Не сокращённое, не обиходное — просто одно. Так пишут те, у кого второго нет.

Я разложила свой чистый список и отметила эти десять строк с края точкой. Они не шли подряд. Они не сбивались в начало или в конец. Они стояли вразброс, между полными именами, четвёртой, шестой, седьмой, одиннадцатой и дальше, и никакого порядка в их расположении я не вывела.

Обе зачёркнутые строки оказались из этих десяти.

* * *

К вечеру второго дня я перестала искать людей и пошла смотреть на зачёркивания.

Их было два, и я до сих пор смотрела на них как на помету. Помета — это то, что мешает читать. Но помета тоже документ, и, если снять с неё раздражение, она говорит не меньше текста.

Я села за свой стол в архиве, когда все ушли, поставила лампу низко и положила подлинник под неё.

Обе линии шли слева направо. Обе — чуть выше середины букв, так, чтобы зачёркнутое читалось. Обе одним движением, без возврата и без второго прохода.

Нажим у обеих ослабевал к концу, но ослабевал не плавно, а уступом, на последней трети.

Я померила длину выхода за букву: с обеих сторон линия выступала за крайнюю букву на одинаковую малость, слева и справа одинаково, будто отмеряли.

Это была одна рука. Я установила бы это под присягой.

Потом я достала свой карандаш.

* * *

Он лежал у меня в сумке с того вечера, когда я обвела на столе конверт.

Я положила его рядом с листом и провела пробную черту на обороте чистой карточки. Потом ещё одну, с нажимом. Потом — уступом, ослабляя к концу.

Оттенок был тот же.

Не похожий — тот. Синий редкий, холодный, уходящий в серое на слабом нажиме; таких грифелей в наборах не кладут, я перебрала в лавке всё, что там стояло, ещё зимой, и не нашла. Крошка ложилась в волокно одинаково: крупная, с блеском на изломе.

Я сличила две линии — свою пробную и ту, что зачёркивала человека, — под лупой, рядом, на одном свете.

Различий не установила.

* * *

В архиве я держу дела, за которыми никто не придёт.

Это мой участок: имущество без наследников, вещи без хозяев, коробки, которые выдают мне на стол. Каждое такое дело я завожу сама, подшиваю сама и ставлю на полку сама, и, если бы кто-то другой вынул оттуда лист, я узнала бы об этом по корешку.

В тот вечер я подняла два дела — по обеим зачёркнутым строкам. Оба имени были из тех десяти, что нигде не находились, и всё же в моём фонде на них что-то лежало: одна из тех тонких папок, что заводят на невостребованное, когда вещь есть, а человека нет.

Первую я открыла и нашла опись на полстраницы.

Вторую открыла и не сразу поняла, на что смотрю.

Внутри лежала карточка учёта — обычная, наша, с типографской сеткой. В верхней графе стояло имя. То самое.

Поверх имени шла синяя черта.

Слева направо, чуть выше середины букв, одним движением, с уступом нажима на последней трети, с одинаковым выходом за крайнюю букву с обеих сторон.

Я сидела и смотрела на неё дольше, чем следует смотреть на документ.

Дело завела я. Четыре года назад. Подпись на обложке моя, шифр мой, порядок листов мой. Ключ от этого шкафа один, и он у меня.

Черты на карточке четыре года назад не было. Я знаю это не по памяти. Я знаю это потому, что при заведении дела опись сверяется полистно, а перечёркнутую графу вносят в опись отдельной строкой, иначе дело не примут.

В описи такой строки не было.

* * *

Я всё-таки проверила дело полистно, как проверяют при выдаче.

Листы лежали в том же порядке. Нумерация сплошная, без вставок и без изъятий: если бы карточку вынимали и возвращали, на обороте подшивки остался бы второй прокол, а прокол был один. Обложка не расшивалась — нить целая, узел мой.

Пыль в папке лежала ровно по нижнему обрезу, как ложится в закрытом за годы.

Синяя крошка лежала поверх пыли.

Я подцепила её иглой и растёрла между пальцами. Она не окислилась и не слежалась, как слёживается графит в бумаге со временем, — она рассыпалась свежо, с блеском на изломе, точно так же, как рассыпалась моя пробная линия часом раньше.

Черту провели недавно. В деле, которое не расшивали. В шкафу, ключ от которого один.

* * *

Я закрыла папку и вышла из архива раньше, чем закрыла лампу.

Потом вернулась, погасила лампу и заперла шкаф.

Дома я разложила на столе всё: подлинник, свой чистый список, стопку из девятнадцати карточек, десять пустых, карандаш.

Двадцать девять человек.

Два зачёркнуты.

Оставалось двадцать семь.

Я вывела это число на полях, прописью, как вывожу все числа в описях.

Потом я достала фотографию.

Она лежала в конверте, в папке, на полке, и я не доставала её с того утра, когда контур на столе оказался пуст. Шестеро детей у стены. Оборот. Строка синим, той же рукой, что вела линии по именам:

осталось двадцать семь

Я положила снимок рядом со своим листом и посмотрела на два числа.

Одно я вывела сама, час назад, вычитанием.

Второе кто-то вывел раньше меня — и вывел до того, как я взяла список в руки, потому что снимок лежал у меня под дверью зимой, а лист я достала из чужих часов неделю назад.

Числа совпали.

Я держала два документа, полученных из разных рук, в разное время, и оба говорили одно, и это было первое совпадение за месяц, которое не требовало от меня веры. Совпадение — не улика. Совпадение — это когда два независимых источника дают один результат, и тогда результат считается установленным.

Установлено: двадцать семь.

Установлено также, что тот, кто писал на обороте снимка, вёл этот счёт раньше меня и вёл его по тому же листу.

Двадцать семь — это остаток. Остаток бывает у денег, у бумаги, у времени и у людей, и во всех четырёх случаях он считается одинаково.

Я сделала простое: провела пальцем по столбцу сверху вниз, отмечая, кто ещё цел.

Палец шёл ровно и на каждой строке останавливался на четверть секунды, как останавливается у кассира, пересчитывающего пачку.

* * *

Карандаш я взяла, не думая о том, что беру его.

Так берут ручку, когда собираются подписать, — рука идёт раньше решения, потому что решение принято минуту назад и рука об этом уже знает.

Остриё встало над третьей строкой сверху.

Имя было полное. Человек существовал: две записи, съём жилья и перемена места, карточка лежала в стопке. Живой.

Я держала карандаш над ним, и запястье уже стояло правильно.

Правильно — это не как попало. Правильно — это когда кисть повёрнута так, чтобы линия пошла выше середины букв и зачёркнутое осталось читаемым; когда локоть лежит на столе, а не висит, потому что висящий локоть даёт дрожь; когда грифель ставят не на первую букву, а на малость раньше, с выходом, и уводят с такой же малостью после, и на последней трети отпускают нажим, чтобы линия не порвала волокно.

Я знала всё это до того, как успела подумать.

Я держала острière над живым именем — синий срез в четверти вершка от бумаги, — и рука была спокойна, и спокойствие это было выученным.

Я опустила карандаш на стол.

Он покатился и остановился у края листа.

* * *

Я не зачеркнула строку. Это единственное, что я могу записать в свою пользу.

Всё остальное записывается против.

Меня не учили этому в архиве. У нас вычёркивают иначе: волнистой чертой, с пометой на полях и датой, и учат этому на первой неделе, и я делаю так двенадцать лет, и рука моя знает этот способ.

Той чертой, что стоит на подлиннике, у нас не вычёркивают никого.

А я поставила запястье под неё с первого раза, не примериваясь.

Я сложила подлинник по прежним загибам и убрала. Чистый список свернула и убрала отдельно. Карточки собрала в стопку, десять пустых положила сверху, чтобы видеть их первыми.

Потом я вымыла руки.

Под ногтем правой, у самого края, оставалась синяя крошка. Она не сошла с первого раза, и я мыла дольше, и всё это время думала не о том, откуда она.

Я думала о том, что зачёркивать надо чуть выше середины букв — чтобы имя осталось читаемым.

Кто-то объяснил мне зачем.

Я не помнила ни этого человека, ни его слов, ни комнаты, в которой он это говорил. Я помнила только правило и то, что оно верное.

Правило было милосердное. В этом вся трудность.

Тот, кто его придумал, думал о том, чтобы имя после черты оставалось читаемым, — чтобы человека можно было вычестить из счёта и всё-таки прочесть. Так делают не палачи. Так делают те, кто ведёт учёт и не хочет, чтобы учёт съел учтённых.

Я вытерла руки и посмотрела на десять пустых карточек, лежащих сверху стопки.

У девятнадцати есть по два следа. У десяти нет ни одного. У всех двадцати девяти до шестнадцати лет нет ничего.

И у одной из двадцати девяти — у той, что стоит последней и написана детской рукой, — до шестнадцати лет есть школьные тетради, библиотечная карточка и отметка в домовоей книге. Целая коробка из-под обуви в нижнем ящике комода.

Я одна в этом списке с детством.

Я подумала, что это должно меня успокоить, и подождала, пока успокоит.

Не успокоило.

Глава 5. Свидетельство

Свидетельства о смерти на него не было.

Установила я это за полдня и не поверила. Смерть — самое подтверждённое из всего, что случается с человеком. Её удостоверяют дважды, записывают трижды и хранят вечно; без свидетельства не хоронят, не наследуют, не снимают с учёта и не закрывают лицевой счёт. За двенадцать лет я не встречала дела, где человек кончился, а бумаги об этом не было.

Здесь бумаги не было.

Была вторая зачёркнутая строка из списка: полное имя, две записи в картотеках, человек с документами. И у этого человека всё обрывалось разом, на одном месяце, шесть лет назад.

Съём жилья — до того месяца. Книга читателей — до того месяца. Отметка в домовой книге — «выбыл», и в графе основания прочерк, и прочерк этот поставлен не мной и не по нашим правилам.

Я подняла реестр записей за тот год и следующий и прошла его подряд, страницу за страницей, не по алфавиту, а сплошь, потому что в алфавит человек попадает через того, кто его туда вписывает, а сплошной просмотр не зависит ни от кого.

Его там не было.

Тогда я пошла с другого конца.

Смерть записывают в одном месте, но следом за ней идут ещё три, и все три от неё зависят. Место на кладбище отводят по свидетельству. Лицевой счёт закрывают по свидетельству. Наследство открывают по нему же.

В кладбищенских книгах за тот год и следующий его не было. Ни участка, ни ряда, ни отметки о безродном погребении, а безродных записывают строже прочих, потому что за них платит город.

Лицевой счёт по его адресу не закрывали. Его перевели — одной строкой, на другое имя, в тот же месяц.

Наследственного дела не заводили.

Человек кончился, и все службы, которые кормятся с этого события, повели себя так, будто события не было. При этом жильё перешло, учёт сошёлся, город не потерял ни рубля.

Так бывает, когда смерть заменена другой процедурой и та, другая, признаётся всеми конторами наравне.

Я выписала адрес из домовой книги и поехала.

* * *

Автобус шёл до конечной час с четвертью.

За городом снег лежал ровно, полями, без следов, и в оконном стекле рядом с полями шло моё лицо. Я смотрела в него не дольше, чем нужно, чтобы понять, что смотрю.

Дом стоял четвёртым от остановки. Деревянный, низкий, с провалившимся крыльцом и с занавесками, задёрнутыми в середине дня.

Я постучала.

Открыли не сразу — я успела сосчитать до четырёх дважды.

Женщина была лет тридцати, в пальто, надетом дома. Она посмотрела на мою папку, а не на меня, и я поняла, что она видит: контора. К ней уже приходили с папками, и ничего хорошего из этого не выходило.

— Опять по вещам? — сказала она.

— Нет. По документу.

— Какому.

— Мне нужно установить, где записана смерть вашего отца.

Она держалась за косяк и не двигалась, и держалась долго.

Потом отступила и открыла дверь шире.

* * *

В доме было холодно тем холодом, который стоит в жилых комнатах, где топят один угол.

Она усадила меня к столу и села напротив, и руки положила сверху, ладонями вниз. Руки у неё были сухие, с потрескавшейся кожей на костяшках, с коротко срезанными ногтями, и они не двигались всё то время, что мы говорили. Я привыкла читать руки и не прочитала эти. В них было только то, что человек решил не показывать ничего.

Стул подо мной был отодвинут от стола дальше прочих и стоял на вытертом месте, где половица высветлена ножками до дерева.

Я поняла, чей это стул, и поняла поздно — когда уже села.

Она заметила, что я поняла, и не сказала ничего. Значит, сажала нарочно. Значит, за шесть лет она усвоила: если посадить пришедшего на этот стул, разговор идёт короче.

На гвозде у двери висело мужское пальто. Не убранное, не отданное, просто висящее, и плечи у него запали внутрь, как западают у одежды, которая долго висит без человека.

— Он умер шесть лет назад? — спросила я.

— Мне так сказали.

— Кто сказал?

— Пришли и сказали. — Она смотрела на середину стола. — В четверг. Он ушёл в понедельник, а в четверг пришли двое и сказали.

— Что именно?

— Что он выполнил и что его больше нет.

Я записала это дословно. Слова чужой речи записывают дословно, потому что в них всегда стоит не то слово, какого ждёшь, и это не то и есть документ.

— Они называли это как-нибудь? — спросила я.

— Приёмка, — сказала она сразу, без усилия, как называют то, что повторяли про себя много лет. — Один сказал другому: приёмка прошла. Я тогда решила, что это про смену. Что у них смена такая.

Она помолчала.

— Потом я спрашивала у знающих людей, что это за слово. Мне сказали: приёмка — это когда товар принимают на склад.

— Так и есть, — сказала я.

— Ну вот, — сказала она.

— Похороны были?

Она посмотрела на меня в первый раз.

— Нет.

— Почему?

— Хоронить нечего, — сказала она. — Мне так объяснили. Сказали: тела не будет, и это не по чьей-то вине, а так устроено. Я спросила, что тогда будет. Мне сказали: будет бумага.

* * *

Бумага лежала в шкафу, в папке, в которой больше ничего не лежало.

Папка была тонкая, с завязками, и завязки истёрлись до нитей — её открывали часто, и открывали одни и те же пальцы.

Она положила её передо мной и не отодвинула руку сразу.

— Смотрите тут, — сказала она. — Я её из дома не отдаю.

Я не стала спорить и раскрыла папку на столе, под её рукой.

Внутри лежал один лист.

Бланк. Плотная бумага, типографская сетка, шапка в две строки: свидетельство о закрытии хранилища. Ниже — графы, заполненные от руки, канцелярским прямым почерком, каким пишут те, кто заполняет по сорок бланков в день и не читает, что заполняет.

Объект: хранилище № — и дальше номер, затёртый острым. Не зачёркнутый, не замазанный: снят верхний слой бумаги вместе с цифрами, и на этом месте волокно встало бахромой.

Дата приёмки: — и число, шесть лет назад, месяц тот самый.

Исполнитель: — и полное имя. То же, что стоит в списке второй зачёркнутой строкой, буква в букву.

Объём: — пусто.

Основание передачи: — «личное согласие».

Причина смерти: — пусто.

Я смотрела на эту графу дольше, чем на все остальные.

Она была не пропущена. Пропущенная графа выглядит иначе: её обходят, и след пера идёт мимо, и в конце заполняющий возвращается или не возвращается. Эта была подведена снизу чертой — той короткой чертой, которой закрывают графу, чтобы в неё нельзя было ничего дописать после.

Графу закрыли пустой. Нарочно.

Внизу, под всеми графами, мелким шрифтом, типографским — то есть напечатанным заранее, на всех бланках этого образца, для всех, кто когда-либо будет по нему проходить:

Исполнитель считается выбывшим с момента приёмки.

* * *

— А это что? — сказала она и показала на пустую графу посередине.

Ноготь её встал под словом «объём».

— Графа для количества, — сказала я. — В таких бланках сюда вписывают, сколько чего принято.

— Тут пусто.

— Тут пусто.

Она смотрела на графу и вела по ней ногтем взад и вперёд.

— А мне сказали, что он много смог, — сказала она. — Приходили и сказали: ваш отец много смог. Я тогда подумала — вот и хорошо, значит, не зря.

Она подняла глаза.

— Много — это сколько?

Я посмотрела на пустую графу, в которой полагалось стоять числу, и не нашла в себе ни одного честного ответа такой длины, чтобы он поместился между нами.

— В бумаге не проставлено, — сказала я.

* * *

Я поняла это сразу.

Не догадалась и не вывела — поняла, как понимают слово родного языка. «Выбывший» в этом бланке не значит «уехал», «отчислен», «снят с довольствия». Оно значит, что человек израсходован и что расход учтён по той же ведомости, по какой учитывают всё прочее, и что причины смерти нет не потому, что её не установили, а потому, что графа эта относится к людям, а здесь речь не о человеке.

Всё это встало у меня целиком, за то время, за которое глаз проходит строку.

Я не знала, откуда я это знаю.

Я работаю с бланками двенадцать лет и такого образца в руках не держала ни разу. Ни в наших фондах, ни в смежных, ни в утративших силу — а утратившие силу я знаю лучше действующих, потому что с ними и работаю.

— Вы поняли, что тут написано? — спросила она.

* * *

— Не знаю, — сказала я.

Она смотрела на меня.

Я слышала своё «не знаю» так, как слышишь чужое: со стороны, с опозданием на полсекунды, когда оно уже сказано и висит в холодной комнате между двумя людьми.

Я не решала солгать.

Я знаю, как принимается решение солгать, — я видела его сотни раз с другой стороны стола, и оно всегда имеет форму: человек добывает воздух, отводит глаза на четверть секунды, ставит паузу длиной в одно слово. Между вопросом и моим ответом не было ни паузы, ни воздуха. Рот открылся раньше меня.

Кто-то отвечал этой женщине моим голосом, и отвечал он правильно — так, как отвечают, когда отвечать нельзя.

— Ну да, — сказала она. — Мне тоже никто не знает.

Она произнесла это без упрёка, и от этого стало хуже, чем от упрёка.

* * *

Я всё-таки задала оставшиеся вопросы, потому что за этим приехала.

— Кто вручал бумагу?

— Пришли двое. Один говорил, второй держал папку.

— Вы расписывались?

— Да. Внизу, там есть место.

Я перевернула лист.

На обороте была отрывная часть — корешок о вручении. Её не оторвали: обычно корешок уходит вручающему, а лист остаётся получателю, и то, что здесь остались обе половины, означало одно из двух — либо вручали не по порядку, либо вторая половина была не нужна.

В корешке стояли две строки.

Экземпляр первый выдан: — и её имя, и её подпись, ученическая, с заваленной вправо заглавной.

Экземпляр второй выдан: — и здесь стояла одна помета вместо имени: «по запросу».

Без имени запросившего. Без даты. Без должности.

— Второй экземпляр кому-то отдавали? — спросила я.

— Мне про второй не говорили.

Я поставила ноготь под эту строку и держала так, пока не запомнила расположение — это привычка, и она надёжнее записи.

Потом я закрыла папку и подвинула её обратно, под её руку.

* * *

— Он вам что-нибудь оставил? — спросила я уже стоя.

— Ничего. — Она подумала. — Ушёл в понедельник, как всегда. Чайник выключил. Он всегда выключал.

Это она сказала уже мне в спину, у двери, тем голосом, каким договаривают то, что не влезло в разговор.

Я обернулась.

— Скажите, — сказала она. — Их много таких?

Список лежал у меня в правом кармане, сложенный по своим загибам. Двадцать девять строк, две зачёркнуты, десять человек, которых нигде нет, и девятнадцать, у которых нет детства.

— Я устанавливаю, — сказала я.

Это была правда, и правда эта была хуже лжи, и мы обе это услышали.

* * *

До остановки я шла восемь минут и всю дорогу считала не шаги, а то, что осталось непроверенным.

Номер хранилища затёрт — значит, кто-то не хотел, чтобы по номеру пошли дальше. Затирали остриём, по сухому, и затирали на этом самом экземпляре: на втором, ушедшем «по запросу», номер, скорее всего, цел. Второй экземпляр в этом деле оказывался важнее первого.

«Личное согласие» стояло в графе основания без приложения. Согласие — это отдельный документ, и он подшивается, и без него графу не заполняют. Здесь заполнили.

И ещё одно, чего я не спросила и не спрошу: он ушёл в понедельник, как всегда, и выключил чайник.

Человек, который знает, что не вернётся, чайник не выключает. Он его не ставит.

Значит, он не знал.

Или знал, и выключил, чтобы она не поняла по чайнику.

* * *

Автобус в город шёл пустой.

Я села у окна и достала блокнот, чтобы записать, пока свежо, и записала всё по порядку: время прихода, время ухода, состав документа по графам, дословные слова, положение корешка.

Одну строку я написала последней, отдельно, ниже всего.

Термин понят до ознакомления с образцом.

Так пишут, когда фиксируют то, чего объяснить не могут, но что имеет значение для дела. Я вписывала эту строку и держала руку ровно, потому что рука у меня всегда ровная, и это тоже, оказывается, ничего не значит.

За окном шли поля.

Женщина в холодном доме шесть лет думала, что не понимает своей бумаги. Я прочитала ту же бумагу за одно движение глаза и сказала ей, что не понимаю тоже, и она мне поверила, и приняла это как общее, и от этого ей стало немного легче.

Легче ей стало от моей лжи.

Я сосчитала до четырёх и не стала начинать заново.

Я сидела и думала не о том, что солгала. Я думала о том, что ложь вышла раньше меня — вышла готовой, уместной, точной, — и что кто-то поставил её во мне так же, как поставил правило зачёркивать выше середины букв.

Правило было милосердное.

Ложь тоже.

* * *

Второй экземпляр я искала на следующий день.

Бланки такого образца хранятся у выдающей стороны, и след их всегда двойной: сам лист и запись о выдаче в книге исходящих. Я обошла три хранилища бумаг, до которых у меня есть допуск, и запросила по описи книг, а не по фамилии, потому что фамилия ведёт туда, куда её вписали, а книга — туда, где она лежит.

Ни одной книги исходящих такого образца в фондах нет.

Ни одного бланка. Ни одной ссылки на утраченный фонд. Ни одного упоминания, что бланк такого вида когда-либо печатался.

Он существует. Я держала его в руках, на нём типографская сетка и типографская же строка внизу, а типография не набирает одну штуку.

Значит, он лежит там, куда у меня допуска нет.

И один экземпляр — «по запросу», без имени, без даты — забрал шесть лет назад человек, который приходил за ним раньше меня.

Глава 6. Подвал

Здесь пахнет мокрой бумагой.

Запах идёт от стен. Стены холодные и мягкие на ощупь, и, если провести по ним ладонью, ладонь остаётся серой. Наверху, под самым потолком, есть окно — узкая полоса в четыре стекла, и стёкла покрашены снаружи, так что свет через них приходит белый и ровный, без часа.

Матрасов шесть.

Они лежат в два ряда по три, и между рядами оставлен проход в две ступни. На моём матрасе с угла оторван кусок ткани — там видна серая набивка, и её можно трогать пальцем, если сидеть тихо.

Сидеть надо ровно. Спина от стены на ладонь.

Он входит и садится на табурет у прохода. Табурет он приносит с собой каждый раз и уносит каждый раз, и по этому я знаю, что он здесь не живёт.

Лица у него нет — есть руки. Руки лежат на коленях, большие, сухие, с широкой костью запястья, и ногти сточены наискось, коротко, как у тех, кто работает с мелким.

— Вдох, — говорит он.

Я набираю.

— Держи.

Я держу. Он смотрит на свои руки, а не на меня, и по рукам видно, что он считает и без голоса: большой палец идёт по костяшкам, раз, два, три.

— Выдох.

Так три раза. Потом он говорит другое.

— Начинай, — говорит он.

Я набираю воздух.

Раз.

Два.

Три.

Воздуха хватает до третьего. Дальше в горле встаёт что-то тёплое и мешает, и я останавливаюсь, и он видит, что я остановилась.

— Четыре, — говорит он.

Он говорит это за меня. Тем же голосом, той же длины, с тем же промежутком, какой был бы у меня, если бы я успела.

— Ещё раз, — говорит он.

Раз. Два. Три.

— Четыре.

Он не сердится. Он не торопит. Он берёт четвёртое число себе и ставит его на место, где у меня пусто, — ровно, как ставят недостающую деталь.

С шестого раза я слышу его четвёртое раньше, чем дохожу до третьего.

С девятого я перестаю набирать воздух после третьего вовсе, потому что незачем: он всё равно скажет.

— Хорошо, — говорит он и встаёт, и берёт табурет.

Он выходит, и дверь закрывается, и остаются шесть матрасов, и запах, и белое окно без часа.

Я лежу и считаю сама, про себя, чтобы проверить.

Раз. Два. Три.

Четыре у меня не выходит.

* * *

Здание я нашла по реестру.

Не по адресу — адреса у него давно не было, а по нежилым помещениям, переданным городу. Такие списки лежат у нас, потому что за ними идёт имущество, а за имуществом — я.

Я взяла реестр за те годы и стала смотреть не строки, а графу назначения.

В графе назначения у всех стояло что-нибудь: склад, мастерская, красный уголок, контора артели. У одного дома в графе стоял прочерк.

Прочерк в этой графе не ставят. Если назначение неизвестно, пишут «не установлено», и это разные вещи: «не установлено» значит, что искали и не нашли, а прочерк значит, что не искали, и поставил его тот, кто знал, что писать нельзя.

Я всё-таки проверила, не описка ли.

Реестр вёлся одной рукой, ровно, и в графе назначения на четырёхстах с лишним строках эта рука ни разу не сбилась и ни разу не поставила прочерка. Один раз — здесь.

Тогда я подняла акт передачи по этому дому.

Акт был на месте, подшитый, с номером. Передающая сторона расписалась. Принимающая сторона — город — расписалась. А в графе, где указывают, от какого учреждения помещение освобождено, стоял тот же прочерк, и стоял он той же рукой.

Дом отдали городу ниоткуда.

Дата передачи городу — семнадцать лет назад.

Я выписала адрес и поехала на другой конец, туда, где улицы кончаются тупиками.

* * *

Дом стоял последним. Низкий, серый, окна первого этажа заложены кирпичом изнутри, и кладка старая, осевшая.

Дверь в подвал была с торца, железная, с накладным замком. Замок висел на одной петле, и дужка была не заведена. Я тронула его пальцем, и он повернулся на петле, и вниз пошла лестница.

Ступеней было восемь.

Внизу пахло мокрой бумагой.

Я остановилась на нижней ступени и стояла долго, потому что запах был неправильный.

Подвал был сухой. Я провела ладонью по стене — стена холодная, но сухая, и ладонь осталась чистой. Плесени по углам не было. Такой подвал ничем не пахнет, кроме пыли и кирпича.

А пахло мокрой бумагой, и пахло плотно, как пахнет там, где источник рядом.

Я обошла всё помещение по периметру и заглянула в оба угла. Бумаги здесь не было. Ни листа, ни коробка, ни клочка.

Запах я записала в блокнот отдельной строкой и не стала объяснять.

* * *

Комната была одна, длинная, с низким потолком.

Под потолком по длинной стене шло окно — узкая полоса в четыре стекла, закрашенных снаружи. Свет через них шёл белый и ровный.

Матрасов не было. Не было и мебели, кроме табурета без сиденья, стоявшего у самой двери.

На стене напротив окна, на высоте примерно до пояса взрослому, шли шесть светлых прямоугольников.

Я подошла ближе.

Штукатурка вокруг них была тёмная, серая, набравшая за годы то, что набирает всякая стена в закрытом помещении. Прямоугольники были светлее — не белые, а на два тона чище, — и края у них были резкие, без размывов.

Так остаётся, когда к стене годами прислонено что-то плоское и стена под этим не пылится.

Я померила один шагами и локтем. Высота — по пояс. Ширина — в матрас, поставленный на торец. Расстояние между ними одинаковое, в две ладони, и последний отстоял от угла на те же две ладони.

Их вешали не на стену. Их к стене ставили — стоймя, на попа, шесть штук в ряд, когда всё кончилось и помещение освобождали. Поставили и не убрали, и они простояли столько, что за это время стена вокруг них успела стать другого цвета.

Потом их всё-таки убрали.

Я записала: *шесть предметов, поставленных вертикально, ширина в матрас, стояли годами.*

Пол я осматривала после стены.

Бетон был серый и ровный, но не везде одинаковый. От двери к дальней стене, по самой середине комнаты, шла полоса — вытертая, чуть светлее прочего, с закруглением на концах. Ширина её была в две ступни.

По такой полосе ходят, и ходят долго, и ходят одни и те же ноги одним и тем же путём.

Полоса шла посередине, а не вдоль стен. Значит, по обе стороны от неё было занято.

Три и три.

* * *

* * *

В соседнем доме мне открыла старуха.

Она долго смотрела на удостоверение, потом на меня, и я поняла, что читать она уже не может и смотрит для порядка.

— Про тот дом? — сказала она. — Пустой стоял.

— Всегда пустой?

— Всегда. — Она подумала. — Воду только выносили.

— Какую воду?

— Обыкновенную. Вёдрами. Зимой особенно.

— Кто выносил?

— Мужчина выносил. Один и тот же. Выйдет, выплеснет за угол и обратно.

Она показала рукой за угол дома, на то место, где теперь лежал ровный снег.

— Часто?

— Да кто ж считал, — сказала она и стала закрывать дверь. — Пустой дом. Что там воде делаться.

* * *

Даты я устанавливала из служебной, а не из своей головы.

По реестру дом передали городу семнадцать лет назад. По домово́й книге соседнего строения кочегарку на этой улице отключили в ту же зиму, и с той зимы отопления здесь нет: краска на трубах внизу пошла тем сухим шелушением, каким идёт только на давно холодном металле.

Значит, помещение действовало до той зимы и не действовало после.

Значит, шестеро, чьи вещи стояли у стены, были здесь до неё.

Я села на нижнюю ступеньку и стала считать не годы, а себя.

Это единственная арифметика, которой я до сих пор избегала, и избегала не по слабости, а потому, что она ничего не давала: у меня есть детство, оно записано в трёх тетрадях и одной библиотечной карточке, и в нём нет подвалов.

Семнадцать лет назад мне было одиннадцать.

Двадцать девятая строка в списке написана рукой лет десяти-одиннадцати.

Я держала оба числа и не сводила их, потому что сводить числа рано — работа не в этом. Работа в том, чтобы найти третье, независимое.

* * *

Третье нашлось в дальнем углу, под трубой.

Тетрадь.

Она лежала на бетоне, у самой стены, разбухшая по корешку, слипшаяся в брусок. Верхняя обложка сошла, нижняя держалась. Бумага была та самая — сырая насквозь, набравшая и отдавшая воду не один раз, и от неё-то и шёл запах на весь подвал.

Я разнимала листы, как разнимают такое: подсунув под угол лезвие, ведя медленно, дав волокну разойтись самому.

Чернил на большинстве страниц не осталось. Вода их сняла.

Но карандаш вода не берёт.

На седьмом развороте карандаш держался целиком.

Это была не пропись и не диктант. Это был столбик — короткие строки, по одной в линейку, и в каждой одно-два слова. Детская рука, крупная, с широким интервалом, с заглавной, севшей выше строки на полторы своей высоты.

Столбик был короткий, слов на пятнадцать, и слова стояли по одному в строке, без объяснений, как пишут для себя.

Часть строк была зачёркнута.

Часть — подчёркнута.

Читалось не всё. Из зачёркнутых я разобрала три: *кричать*, *стучать*, *просить*.

Из подчёркнутых — тоже три: *считать*, *молчать*, *ждать*.

Это был не урок и не наказание. Это была рабочая записка: перечень способов, из которых одни проверены и не работают, а другие проверены и работают. Так ведут учёт те, кому не у кого спросить.

Ребёнок в этом подвале составил себе опись и вёл её по правилам.

Я поднесла лупу.

Зачёркивания шли слева направо, одним движением, чуть выше середины букв — так, чтобы зачёркнутое оставалось читаемым. Ни одного возврата. Ни одного второго прохода. Выход за крайнюю букву слева и справа на одинаковую малость.

Подчёркивания шли под строкой, отступив на волос, ровно до последней буквы и ни на волос дальше.

У нас в архиве так не вычёркивают. У нас волнистой, с пометой на полях.

Так вычёркиваю я. И так подчёркиваю я. Всё, что важно.

Ребёнок в этом подвале держал ту же систему, что держу я, и держал её раньше, чем меня ей научили.

* * *

Снимок я достала последним.

Он лежал у меня в папке, и я привезла его с собой, не решив заранее зачем.

Шестеро детей у стены. Серый свет сверху. Промежутки между ними в две ладони, ровные.

Я встала напротив стены с прямоугольниками и подняла карточку на вытянутой руке, совмещая.

Окно на снимке шло под потолком узкой полосой в четыре стекла. Здесь оно шло под потолком узкой полосой в четыре стекла.

Свет на снимке падал сверху и слева, и тень от детей ложилась вправо и коротко. Здесь свет падал сверху и слева.

Дети на снимке стояли с промежутками в две ладони. Прямоугольники на стене стояли с промежутками в две ладони.

Я опустила руку.

Шестеро стояли у этой стены. Кто-то поставил их в ряд, отмерил промежутки и снял.

Матрасов на снимке нет: их вынесли перед съёмкой или ещё не внесли. Стена за детьми ровная и тёмная, без светлых мест, — значит, снимали до того, как к ней прислонили шесть предметов и оставили на годы.

Значит, порядок был такой: сначала жили, потом снимали, потом освободили.

Или: сначала снимали, потом жили.

Второе я записала тоже, потому что записывают оба, пока не отброшено одно.

* * *

Я не стала складывать вывод.

Вывод складывается сам, когда сходится третье, и работа моя в этот момент кончается и начинается что-то другое, чему я не обучена.

Я сидела на ступеньке, с разобранной тетрадью на коленях, в сухом подвале, где пахло мокрой бумагой, и смотрела на стену напротив.

Шесть светлых прямоугольников.

Я стала их считать — не потому, что не знала, сколько их, а потому, что руки надо было чем-то занять.

Раз.

Два.

Три.

Между третьим и четвёртым во мне встало то самое тёплое, что встаёт в горле и мешает набрать воздух.

Я остановилась.

И в паузе, ровно в той длины паузе, какая была бы у меня, если бы я успела, — прозвучало четвёртое.

Не в комнате. В комнате было пусто, и я это установила дважды, обойдя её по периметру.

Оно прозвучало на своём месте, тем же голосом, той же длины, с тем же промежутком.

Не как чужое.

Как своё, которое кто-то однажды поставил на пустое место — ровно, как ставят недостающую деталь, — и с тех пор оно стоит там и работает, и я всю жизнь считала его собственным.

Я досчитала до шести и встала.

Тетрадь я завернула в бумагу и убрала под пальто.

Прежде чем уйти, я сделала то, что делаю везде.

Взяла карандаш — обычный, графитный, — и обвела нижний край одного из шести прямоугольников по штукатурке, коротким отрезком в палец длиной. Если сюда придут и что-нибудь тронут, отрезок покажет.

Потом я постояла и стёрла его рукавом.

Не потому, что передумала оставлять метку. Потому, что стирать метки я, как выяснилось, тоже умею, и рука сделала это раньше, чем я решила.

Я посмотрела на рукав. На тёмной шерсти осталась серая полоса от штукатурки, и в ней — ни одной синей крупинки.

Записала я и это.

Табурет без сиденья оставила, где стоял. Поднялась по восьми ступеням и вышла, и сложила дужку замка обратно на петлю, как было.

Наверху лежал снег, ровный, без следов.

Я шла к остановке и на ходу проверяла себя счётом, как проверяют больную ногу на каждом шаге.

Раз. Два. Три.

Четыре у меня не выходило.

Я сбилась на четвёртом.

И поняла, что кто-то считал за меня.

Глава 7. Смотритель

Он пришёл в архив в приёмные часы и записался в журнал зала как все.

Дина принесла мне карточку читателя, держа её за угол, двумя пальцами, и положила на стол молча, и по тому, как она её положила, я поняла, что она уже прочла имя.

Я вышла в зал.

Сай сидел за третьим столом слева — за тем, где скрипит стул и куда никто не садится. Тёмное пальто он не снял, только расстегнул. Перед ним на сукне лежал плоский свёрток в холстине, перевязанный крест-накрест, и руки его лежали по обе стороны от свёртка, ровно, ладонями вниз.

Я села напротив.

— Вы делали запросы, — сказал он вместо приветствия. — Три. По книгам исходящих, не по фамилии. Правильно делали: по фамилии вас бы отправили по кругу.

— Запросы ушли в три разных места.

— Они пришли в одно, — сказал Сай. — Ко мне.

Он развязал холстину.

* * *

Это была не книга. Это была подшивка.

Тетради, сшитые вручную, суровой нитью, через три прокола, корешок обмотан полосой ткани и промазан клеем. Обрез неровный: тетради разной толщины, добавлялись по мере. Верхняя обложка картонная, с наклейкой, на которой стояло одно слово и ниже — две даты, из которых вторая не проставлена.

Журнал.

— Смены, — сказал Сай. — Приём, выдача, вход, выход, происшествия. Восемнадцать зим одной рукой.

— Своей?

— Своей. — Он повернул подшивку ко мне, чтобы я читала не вверх ногами. — Смотрите. Вы за этим и ходили по трём местам.

Я не притронулась сразу.

Сначала я осмотрела внешнее — так, как осматриваю всякий документ, прежде чем читать. Нить целая, узлы на месте, проколы не сдвоены: тетрадей не вынимали и не вставляли. Обрез ровный по низу, значит, листы не подрезали. Углы обтёрты одинаково по всей толщине — подшивку носили, и носили годами, и носил один человек.

Только потом я открыла.

* * *

Разворот был разграфлён от руки.

Слева — дата и час. Дальше три узкие графы: принято, выдано, вход и выход. И справа, вдоль всего поля, шириной в ладонь, — последняя графа, самая широкая из всех.

Происшествия.

Она была пуста.

Я перевернула страницу. Пуста.

Ещё. Пуста.

Я перелистывала не глядя в левые графы, только вдоль правого поля, и белая полоса шла и шла, разворот за разворотом, ровная, как снег на пустой улице. Дата, час, принято, выдано — и справа ничего.

Так листают, пока не начинают не верить руке.

Я стала листать медленнее и смотреть уже на всё. Записи шли плотно, мелко, без помарок, без исправлений, без пропусков дней. Ни одной подчистки. Ни одной строки, вписанной другими чернилами. Ни одного места, где перо остановилось бы и человек подумал.

Восемнадцать зим ровного почерка.

— Сколько разворотов? — спросила я.

— Не считал, — сказал Сай.

— Считали.

Он посмотрел на меня и в первый раз чуть повёл углом рта.

— Тысяча девятьсот сорок. Плюс тот, что открыт.

* * *

Строка стояла на первом развороте.

Не в середине, не в конце — в самом начале, там, где журнал ещё не разошёлся, где почерк ещё чуть крупнее, чем станет потом, и где человек ещё оставляет между строками лишний интервал, потому что не знает, на сколько лет ему хватит бумаги.

Четвёртая запись сверху.

Слева стояла дата. Справа, в широкой графе, — одно слово.

Приходил.

С точкой. Больше ничего. Ни имени, ни цели, ни кто впустил, ни кто вывел, ни отметки о докладе.

Я поднесла лупу.

Слово было написано той же рукой, что и всё остальное, и той же чернильной ручкой: тот же оттенок, ушедший в бурый по краю штриха, та же ширина линии. Нажим ровный. Точка поставлена отдельным касанием.

Ни дрожи, ни разгона, ни задержки на первой букве.

Человек, который писал это, не волновался и не спешил. Он заполнял графу.

Прежде чем спрашивать, я прошла журнал ещё раз — теперь не по правому полю, а по левым графам.

Приём и выдача шли ровно и скучно. Короб. Короб. Два короба. Ничего. Ничего. Короб.

Раз в семь дней в графе входа стояла одна и та же помета: «по допуску». Без имени. Каждую неделю, восемнадцать зим подряд, кроме нескольких пропусков зимой, когда, вероятно, не было дороги.

— Кто ходил по допуску? — спросила я.

— Разные, — сказал Сай.

— Одна и та же строка каждую неделю.

— Строка одна. Люди разные.

— Тогда почему вы не пишете имён?

— Потому что графа называется «вход», а не «кто», — сказал он. — Имена пишут там, где за них отвечают. Здесь за них не отвечают.

Я перелистнула ещё несколько разворотов и посмотрела, чего в журнале нет.

Нет ни одного упоминания о людях, которые где-то содержатся. Нет ни одной строки о доме на окраине с заложенными окнами. Нет ни слова, из которого следовало бы, что в этом хозяйстве есть кто-нибудь, кроме коробов, дверей и смен.

Журнал был безупречен ровно в том смысле, в каком безупречен документ, из которого заранее убрали всё живое.

* * *

— Кто приходил? — спросила я.

— В графе написано всё, что в ней написано, — сказал Сай.

— Это не ответ.

— Это ответ зрителя. — Он сложил руки. — Я отвечаю за то, что записано. За то, что не записано, я не отвечаю никак.

* * *

Я решила его проверить.

Это делается просто и делается всегда: человеку задают вопрос, ответ на который известен спрашивающему и не имеет для отвечающего никакой цены. По тому, сойдёт ли он там, где врать незачем, видно, как он устроен.

— В первой тетради у вас разворот подклеен снизу, — сказала я. — Полосой в палец. Зачем?

— Пролилось, — сказал Сай, не заглядывая. — Вторая зима, оттепель, потолок потёк над столом. Подклеил в тот же день. Три разворота, не один: восьмой, девятый и одиннадцатый.

Я нашла восьмой. Подклеен. Девятый. Подклеен. Одиннадцатый — подклеен, а десятый чист.

— Почему десятый цел?

— Потому что на десятом лежала моя рука, — сказал он.

Он помнил, где лежала его рука восемнадцать зим назад, и ответил об этом раньше, чем я успела спросить второй раз.

* * *

Я сидела и смотрела на белое поле длиной в восемнадцать зим и на одну строку в его начале.

Так выглядит не порядок. Так выглядит решение.

Графу происшествий заводят не для красоты: в неё пишут всё, что вышло за обычный ход, и в наших журналах она заполняется по несколько раз в месяц — прорвало трубу, не явился сменщик, посетитель ушёл, не сдав дело. Пустая графа за восемнадцать зим означает одно из двух: либо в этом месте за восемнадцать зим ничего не случилось, чего не бывает нигде, либо человек, ведущий журнал, сам решает, что считать происшествием.

И один раз он решил, что случилось.

— Вы можете сказать, почему вы записали именно это? — спросила я. — И почему больше ничего.

Сай подумал. Он думал по-настоящему, а не изображал.

— Я записываю то, что нарушает счёт, — сказал он. — У меня приход равен расходу, вход равен выходу, и так каждый день. В тот день кто-то вошёл и вышел, а счёт не сошёлся.

— Как не сошёлся?

— Вошёл один. Вышли двое.

Он сказал это ровно, как говорят цифру.

— Кто был второй?

— Я не видел второго, — сказал Сай. — Я видел, что дверь открыли на двоих. Так открывают, когда придерживают за спиной.

* * *

Час стоял рядом с датой, в левой графе, как во всех прочих строках.

Я прочитала его, записала себе и в тот момент ничего не почувствовала — час как час, вечерний, обыкновенный.

Дату я тоже записала.

И только когда записала обе, руки у меня остановились сами, раньше головы, как останавливаются, когда перо доходит до знакомого.

Эту дату я знала.

— Что с вами? — спросил Сай.

— Ничего.

— Хорошо, — сказал он и не стал спрашивать второй раз.

Он вообще не спросил меня в тот день ни о чём: ни о подвале, ни о списке, ни о том, зачем архивисту книги исходящих чужого ведомства. Он привёз мне подшивку через полстраны, дал прочесть одну строку и ни разу не поинтересовался, что я уже знаю.

Человек, который не задаёт вопросов, либо равнодушен, либо ему нечего спрашивать.

Равнодушным Сай не был. Он поправил подшивку на сукне, чтобы она лежала обрезаем ровно к краю стола, и от этого движения мне стало не по себе больше, чем от строки.

* * *

— Вы отдадите мне это? — спросила я.

— Нет.

— Дадите снять копию?

— Нет.

— Тогда зачем вы привезли?

— Затем, что вы искали, — сказал Сай. — Вы делали три запроса и сделали бы тридцать. Я предпочитаю, чтобы человек увидел то, что ищет, и перестал искать это, а не ходил кругами и находил по дороге другое.

— По дороге я и так нахожу другое.

— Знаю, — сказал он. — Потому и приехал сам.

— Одно скажите, — сказала я. — Вы приехали через полстраны, чтобы я прочла три слова.

— Два, — сказал Сай. — Слово и точка.

— Вы приехали ради этого.

— Я приехал, потому что вы сами до этого дойдёте, — сказал он. — Дойдёте позже, дороже и не в том порядке. Порядок дороже правды, у вас в архиве это знают лучше моего: правда, взятая не по порядку, ложится не туда и портит соседние строки.

— Вы решаете за меня порядок.

— Я решаю за себя. — Он повёл ладонью над подшивкой, не касаясь. — У меня всё разложено по графам восемнадцать зим. Вы ходите вокруг и вынимаете листы из середины. Я предпочитаю подать сам.

Он завернул подшивку в холстину и завязал крест-накрест, тем же узлом, каким она была завязана.

У двери зала он обернулся.

— Вы записали час, — сказал он. — Я видел, как вы его записывали. Записали и не поняли. Придёте домой — поймёте.

— Вы знаете, что там за час?

— Я знаю, что там за час, — сказал Сай. — Я не знаю, чей он.

И вышел, и Дина посмотрела ему в спину поверх очков, и стул за третьим столом слева скрипнул сам по себе, когда он встал.

* * *

Перед уходом я посмотрела журнал зала.

Он записался, как записываются все: фамилия, к кому, номер дела.

В графе «к кому» стояло моё имя.

В графе номера дела — прочерк.

Тот же прочерк, который я сама поставила Дине неделю назад, когда пришла в зал со своим листом и без основания. Ровный, короткий, поставленный рукой, которая решила не писать и не захотела оставить графу открытой.

— Он спросил, как это заполняется, — сказала Дина. — Я объяснила. Он сделал в точности.

* * *

Дома я достала обувную коробку из нижнего ящика комода.

Там всё, что осталось от детства: три школьные тетради, читательский формуляр, две открытки без текста, библиотечная карточка, где моё имя выведено рукой библиотекаря. И бумаги — те, что положено иметь человеку с самого начала.

Свидетельство о рождении лежало на дне, в бумажном конверте, вытертом на сгибах до ткани.

Я раскрыла его на клеёнке и придавила уголки.

Число.

Час.

Я положила рядом свою запись из зала и подвинула так, чтобы обе строки встали одна под другой.

Дата в журнале и дата в свидетельстве совпадали числом и месяцем. Год в журнале был позже на десять.

Мой день рождения. Десятый.

Тот, кто вошёл в чужую дверь и вышел вдвоём, сделал это в день, когда мне исполнилось десять лет, и в журнал это попало как единственное происшествие за восемнадцать зим.

* * *

Оставался час, и час я сличала последним.

В свидетельстве он проставлен машиной, при выдаче, — так делают в бюро, чтобы нельзя было переписать рукой. В журнале — вписан пером, в левой графе, как во всех остальных строках.

Я выписала оба на чистый лист, один под другим, и вычла меньшее из большего, как вычитают в описи.

Разница вышла в четыре минуты.

Запись в журнале стояла раньше.

Я проверила вычитание трижды, потому что вычитание — единственное, что здесь можно было проверить, и потому, что руки надо было чем-то занять. Все три раза вышло одно.

Четыре минуты.

Человек вошёл в дверь за четыре минуты до того часа, в который я родилась, — и вышел вдвоём.

Только было это не в тот год, когда я родилась. Это было ровно через десять лет, в тот же день и почти в тот же час, — и кто-то отмерил эти четыре минуты нарочно, потому что случайно так не совпадает.

Мой день рождения стоял в служебной книге.

Не в поздравительной тетради, не в семейном календаре — в графе происшествий чужого хозяйства, между приёмом коробов и сдачей смены. У меня никогда не было дня рождения как праздника; я знаю про него то, что знают все: число, месяц, отметка в анкете. И вот оно нашлось — единственным событием, которое кто-то за восемнадцать зим счёл достойным записи.

Не мой десятый год оказался важен. Важен оказался тот час.

Кто-то держал его в уме десять лет и пришёл к нему точно.

* * *

Я сидела над двумя бумагами и не двигалась.

Потом я взяла карандаш и подчеркнула час в журнальной выписке — ровно под строкой, отступив на волос, не заходя за последнюю цифру.

Так подчёркивают важное.

Так подчёркивал ребёнок в тетради из подвала.

Я посмотрела на свою руку, лежащую на листе, и на ровную линию под часом, и мне не пришло в голову ни одного вопроса, который я умела бы задать бумаге.

Бумага отвечает на «кто», «когда» и «чем». Она никогда не отвечает на «зачем», и за восемь лет я привыкла считать, что это её единственный недостаток.

В ту ночь я впервые подумала, что это её единственная милость.

Глава 8. Эно

Снег на его плечах слежался в корку.

Увидела я это раньше лица. Так делается снег, когда человек стоит на месте больше часа: верхний слой подтаивает от тепла тела, схватывается на морозе и держит форму, и по толщине корки время стояния определяется не хуже, чем по часам.

Он стоял у моего архива, у нижней ступени, лицом к двери.

Я шла с обеда и увидела его от угла, и первое, что я сделала, — посмотрела не на него, а под ноги.

Снег вокруг него был ровный.

Ни следа подхода, ни утоптанного пятна, какое всегда набивает под собой стоящий человек, ни отпечатков в стороне, откуда он пришёл. Ровное белое поле, и на нём — старик в долгополом, подпоясанном верёвкой, без шапки, с волосами совсем белыми, лежащими так, как лежат у того, кто давно живёт один.

Я записала про снег в тот же вечер, потому что вечером мне уже не хотелось этого писать, а днём я ещё была человеком, который записывает.

* * *

В руках он держал кружку.

Глиняную, тёмную, с трещиной по глазури, идущей от края ко дну.

Ту самую. Я держала её зимой, в чужом доме, за тысячу вёрст отсюда, и трещину эту знаю, потому что вода из неё уходила по трещине и я тогда пила быстрее, чем хотела.

— Эно, — сказала я.

Он повернул голову.

Лицо у него было то же — и вблизи стало видно то, чего я не заметила на Севере: оно не имело возраста в том смысле, в каком его имеет всякое лицо. Кожа старая. Морщины старые. А того, что откладывает по себе прожитое, — обвислости у рта, тяжести под глазами, всего, по чему я привыкла давать человеку годы, — не было.

— Вы далеко от дома, — сказала я.

— Я не дома живу, — сказал он.

Голос скрипел на первых словах и разрабатывался к концу фразы, как несмазанное.

Он протянул мне кружку.

Я взяла. Внутри была вода — до половины, холодная, с железом, отдающая ржавым крапом.

Я не стала пить.

* * *

— Для кого вы это устанавливаете? — спросил он.

Вопрос был короткий и задан ровно, без нажима, как спрашивают о деле.

Я знаю, как отвечают на такое. Отвечают за секунду или не отвечают вовсе, потому что за секунду ответ либо есть, либо его нет.

Я стала перебирать.

Для дочери в холодном доме — нет: я ей соврала. Для тех девятнадцати — нет: я их не нашла, и, если найду, им от моего установления будет хуже. Для Ноэля — некому. Для отца — он не вспомнит. Для себя — но себя я и устанавливаю, и выходит, что я одновременно и следователь, и дело, а дело для себя не ведут: свои дела передают.

Я стояла с чужой кружкой в руках, и секунда прошла, и вторая.

— Не знаю, — сказала я.

Это было второе «не знаю» за неделю, и на этот раз оно было правдой, и от этого оно вышло медленнее.

Эно кивнул так, будто получил то, за чем шёл.

Он забрал кружку — не выдернул, а подставил ладонь снизу, и я отдала.

— Самое трудное — понять, что вспоминать уже некому, — сказал он.

Я записала эту фразу дословно, стоя, в блокнот, на ступени, потому что дословные слова записывают сразу.

Пока я писала, он пошёл.

* * *

— Пойдите, — сказала я ему в спину. — Откуда вы знаете, что я что-то устанавливаю?

Он не остановился и не обернулся.

— Вы всех спрашиваете одинаково, — сказал он. — Сначала о бумаге, потом о человеке. Никогда наоборот.

* * *

Он шёл небыстро.

Я закрыла блокнот и пошла следом, отстав шагов на двадцать, и держала это расстояние всю дорогу, потому что сократить его не выходило.

Он не прибавлял. Я прибавляла. Расстояние не менялось.

Такое бывает и без всякой мистики: человеку впереди помогает то, что он выбирает путь, а идущий сзади всякий раз доигрывает чужой выбор — обходит то, что тот прошёл насквозь, ждёт у поворота, теряет полшага на снегу. Я объясняла себе это всю дорогу, и объяснение держалось.

Мы прошли улицу, перекрёсток, ещё улицу.

На втором повороте он свернул налево.

Я досчитала до четырёх — ровно столько, сколько ушло у меня, чтобы дойти до угла, — и свернула тоже.

* * *

За углом был двор.

Глухой, замкнутый с трёх сторон: слева стена без окон, справа стена с окнами первого этажа, забранными решётками, впереди — торец следующего дома, кирпич до земли. Ни двери, ни арки, ни лаза. Один фонарь на кронштейне, давно не горящий.

Двор был пуст.

Я стояла на входе и не входила, потому что первое, чему учат при осмотре, — не топтать.

Снег во дворе лежал ровно.

Не «почти ровно». Ровно — тем ровным слоем, какой ложится за ночь и остаётся до утра, и на нём видно каждую мелочь: ямку от упавшей с крыши наледи, две вороньи цепочки, полосу от ветра вдоль стены.

Человеческих следов не было ни одного.

Ни моих — я не входила. Ни его.

* * *

Дальше я работала.

Я обошла квартал по внешней стороне и вернулась ко входу во двор с другого конца, чтобы посмотреть, не выходит ли он куда-нибудь ещё. Не выходит.

Я осмотрела правую стену: решётки на всех четырёх окнах, прутья в палец, крепления вмазаны, ржавчина сплошная, не тронутая.

Я осмотрела торец: кирпич, без ниш, без подвального лаза, водосток кончается в полутора саженях от земли.

Я осмотрела левую: глухо.

Я осмотрела крыши: карниз низкий с одной стороны, но подняться на него можно только с чего-нибудь, а во дворе не было ничего, кроме снега.

Я померила снег.

Это делается линейкой или чем придётся: втыкают вертикально до земли и смотрят отметку. У стены глубина была меньше, к середине больше, у торца опять меньше — обычное распределение при боковом ветре, набранное за одну ночь и не тронутое с тех пор.

Если бы во дворе кто-то стоял, ходил или падал, распределение сбилось бы, и сбой этот держится сутками: снег, однажды примятый, не восстанавливается сам.

Распределение не было сбито нигде.

Я вошла наконец сама, по краю, вдоль стены, и прошла двор из конца в конец и обратно, и поднимала глаза и опускала их, и на обратном пути посмотрела на свою собственную цепочку следов.

Она была одна.

Я вышла и в блокноте написала не то, что подумала, а то, что установила:

Двор замкнут с трёх сторон. Иных выходов нет. Снег на всей площади без нарушений. Следов, кроме собственных, не обнаружено.

Строку «вывод» я оставила пустой.

Пустая строка вывода — законная вещь. Её ставят, когда установленное не складывается ни в одно объяснение и добавлять нечего. За восемь лет я ставила её дважды. Оба раза потом объяснялось.

* * *

У выхода со двора стояла женщина с санками и ждала ребёнка.

Она стояла там, судя по утоптанному под ней снегу, давно.

— Скажите, — сказала я, — отсюда сейчас никто не выходил?

— Отсюда никто не выходит, — сказала она. — Тут глухо. Все ходят понизу, через ту арку.

— А входил кто-нибудь?

Она посмотрела на меня внимательнее, чем до сих пор.

— Вы входили.

— До меня.

— До вас никого, — сказала она. — Я тут с полчаса.

Я спросила её о старике в долгополом, без шапки, с кружкой. Описала, как описываю в розыскной справке: рост, сложение, походка, волосы, во что одет, что в руках.

Она слушала до конца и покачала головой.

— Такого бы я запомнила, — сказала она. — Без шапки-то.

* * *

В архив я вернулась к четырём и села в фонды.

Искать человека без фамилии — работа неблагоприятная и не всегда невозможная. Имя короткое, редкое; такие ищут не по алфавиту, а по спискам личного состава, где записывают всех подряд, и по фотографическим приложениям, где подписи делались от руки.

Я подняла личный состав по всем нашим смежным учреждениям за двадцать лет. Ничего. За сорок. Ничего.

Я стала брать не списки, а приложения.

Приложения к личным делам — это конверты с карточками: снимок, наклеенный на картон, и типографская сетка граф под ним. Их хранят отдельно от дел, рассыпью, и разбирают редко, потому что разбирать их долго, а спрашивают их раз в десятилетие.

Я разбирала их четыре часа, конверт за конвертом, при лампе, и к вечеру глаз стал брать не лица, а овалы.

На четвёртом часу я перевернула картон и остановилась.

* * *

Снимок был старый.

Не ветхий — старый по способу: бумага с толстым слоем, тон уходит в тёплое, углы обрезаны фигурно. Так печатали давно и перестали.

На снимке стоял человек в долгополом.

Волосы белые, лежат ровно, разделённые не пробором, а так, как ложатся сами. Кожа старая, морщины старые. Обвислости у рта нет. Тяжести под глазами нет.

Я держала карточку под лампой и делала то, что делаю с лицами: не узнавала, а сличала.

Расстояние между внешними углами глаз к ширине лица. Посадка ушной раковины относительно линии глаз — правое ухо выше левого на малость. Форма крыла носа. Складка от крыла к углу рта, идущая справа глубже.

Всё совпало. Совпало и то, чего не подделывают и не повторяют: правое ухо выше левого ровно настолько же.

Датировка стояла в углу картона, штампом мастерской.

Сорок лет.

Сорок лет назад этот человек выглядел ровно так же, как выглядел сегодня в полдень у нижней ступени моего архива.

* * *

Я не стала делать вывод и здесь.

Я стала делать то, что делаю, когда вывод делать нельзя: собирать всё, что можно проверить.

Я перевернула карточку.

С обратной стороны шла типографская сетка. Графы в ней были обычные, наши, старого образца:

Поступил. — заполнено.

Должность. — заполнено одним словом, которое я прочитала и не поняла, потому что такой должности нет ни в одном штатном расписании, какое я держала в руках.

Выбыл. — прочерк.

Основание. — прочерк.

Слово в графе должности я выписала отдельно и потом весь вечер сверяла с тем, что у нас есть.

Штатные расписания хранятся вечно — по ним считают пенсии, и потому их не уничтожают ни при каких сокращениях фондов. Я подняла их за те годы по всем смежным ведомствам: сорок с лишним папок, каждая на сотню листов, все должности расписаны по разрядам, от начальника до истопника.

Такой должности в них нет.

Она есть на карточке, вписана рукой в типографскую сетку, и вписана уверенно, без колебания, тем же пером, что и остальные графы. Человек, заполнявший, не изобретал её на ходу. Он знал, что пишет.

Должность существовала. Не существовало расписания, в котором она стоит.

* * *

И последняя графа, самая узкая, та, ради которой карточка и хранится вечно, а не тридцать лет:

Умер.

Она была пуста.

* * *

Я сидела с карточкой под лампой и смотрела на эту пустую графу дольше, чем смотрела на лицо.

Тут надо понимать одну вещь.

Личное дело сдаётся в фонд закрытым. Закрытым оно считается, когда заполнены три графы: выбытия, основания и последняя. Незакрытое дело в фонд не принимают — его возвращают тому, кто сдаёт, и оно лежит у него, пока он не найдёт, чем заполнить.

Это дело лежало в фонде сорок лет.

Значит, его приняли.

Значит, кто-то расписался в приёмке дела, в котором последняя графа пуста, и после этого сорок лет ни одна проверка — а проверки идут раз в пять лет, сплошняком, по описи — не подняла эту карточку и не потребовала объяснения.

Я подняла книгу приёмки за тот год.

Дело значилось. Номер стоял. В графе состояния было написано: *принято в полном виде*.

Одно из двух: либо человек, принимавший, не смотрел, либо для этой карточки «полный вид» означал именно то, что я держала в руках.

* * *

Я вложила карточку обратно в конверт и завязала тесьму.

Потом развязала и вынула снова, и переписала себе все графы дословно, включая прочерки, потому что прочерк — тоже запись.

Потом положила окончательно и убрала конверт на место, торцом вровень с соседними.

За окнами было темно. В зале давно никого не было; Дина ушла, оставив на моём столе счёт за освещение, как оставляет всегда, когда я сижу дольше всех.

Я открыла блокнот на дневной странице.

Там было три записи.

Первая — про снег на плечах и про ровное поле под ногами.

Вторая — про двор с тремя стенами и про мою единственную цепочку следов, и пустая строка вывода под ней.

Третья — дословная, взятая на ступени, пока он ещё стоял передо мной:

Самое трудное — понять, что вспоминать уже некому.

Днём я записала её как записывают чужие слова: как показание, не разбирая.

Сейчас я прочитала её на своей странице, под двумя протоколами, и она встала на своё место, и место это оказалось не там, где я её положила.

Он сказал это не про Ноэля, которого хоронили восемь человек под восемью именами.

И не про дочь в холодном доме, которой оставили бумагу вместо тела.

Он сказал это про себя.

Человек, у которого в последней графе сорок лет стоит пусто, не может умереть по документам. А в бумаге умирают там же, где живут, — и если графа не заполнена, значит, некому её заполнять: нет ни родни, ни сослуживцев, ни того, кто придёт и скажет, когда именно.

Я взяла чистую карточку из ящика — нашу, нынешнего образца, с той же сеткой, только сетка теперь печатается синим, а не серым.

Заполнила верх: имя, год, должность.

Дошла до последней графы и остановилась, потому что заполнить её было нечем и заполнить её было рано, и всё-таки рука ждала.

Я положила карточку в стол, лицом вниз.

* * *

Я сидела в пустом зале и думала не о том, сколько ему лет.

Я думала о том, что за сорок лет никто ни разу не поднял эту карточку.

И что мою — поднимут.

Глава 9. Десять конвертов

Десять конвертов лежали у меня на столе, а оставила я их за тысячу вёрст отсюда.

Я положила их тогда на чужой стол веером, обрезам к человеку, который сидел напротив, — по датам, слева направо, от раннего к позднему. Я вышла из того дома и не взяла со стола ничего. Помню я это целиком, вместе с тем, как затворялась дверь и как он придержал её, чтобы не хлопнула.

Теперь они лежали на моём.

Не веером. Стопкой, ровно, обрезам к окну, придавленные сверху лупой.

Лупа моя, домашняя, из ящика.

* * *

Прежде чем считать, я установила, те ли это.

Это делается по признакам, а не по узнаванию, потому что узнавание — самая дешёвая из улик и первое, что подводит.

Первое: номера. Я нумеровала конверты в верхнем правом углу, карандашом, когда брала их с полка в холодном доме, и нумеровала мелко, простым графитом, потому что графит не боится воды. Номера стояли. Все десять, моей рукой, с той петлёй на девятке, которую я не выправляю с детства.

Второе: надрез. Я вскрывала их ножом, вдоль клапана, ведя от себя, и потому надрез у меня всегда уходит влево. У всех десяти надрез шёл влево, одинаковой длины, с одинаковым выходом за угол.

Третье: клапан. Их заклеивал человек, прижимавший ребром ладони по всей длине, и от этого на клапане остаётся ровная матовая полоса. Полоса была на всех.

Четвёртое: бумага. Разные зимы дают разный сорт, и в стопке лежали шесть сортов, и распределение их по номерам совпадало с тем, что я записывала себе тогда.

Те самые.

Я записала это в блокнот полностью, по всем четырём признакам, потому что дальше начиналось то, чего записывать не хотелось.

* * *

Оставалось установить, как они сюда попали.

Почтой — нет: ни бандероли, ни обёртки, ни бечёвки, ни обрывка сургуча в ведре. Я разобрала ведро полностью, до дна, потому что обёртку выбрасывают, а её не было.

С оказией — нет: за неделю у меня в квартире не было никого, и Дина, единственная, у кого есть повод зайти, не заходила. Я спросила у неё на другой день, спросила боком, про другое, и по ответу поняла, что не заходила.

Сама привезла — нет. Я вернулась с Севера с одной сумкой, и опись содержимого сумки у меня записана: я описываю собственные вещи так же, как чужие, это привычка и защита. В описи десяти конвертов нет.

Оставалось четвёртое, для которого в наших бланках графы не предусмотрено.

* * *

Листов внутри я не читала.

Не тогда и не теперь. Тогда я вскрыла их при нём и разложила, чтобы он читал свою руку по порядку; читал он, а я смотрела на него. Это было моё решение, и держалась я его не из благородства, а по расчёту: всё, к чему я не притронусь, останется целым.

Теперь я вынула первый лист, чтобы осмотреть — не прочесть.

Разница между «осмотреть» и «прочесть» существует, и я умею её держать. Смотрят на бумагу, на сгиб, на поля, на следы обращения. Глаз при этом идёт поперёк строк, а не вдоль, и слова не собираются в смысл.

Лист был сложен втрое.

Сгибы шли по старому — по тем же, что были заведены при отправке восемнадцать зим назад, и старые сгибы легко отличить: волокно вдоль них уже не белое, а прозрачное, и лист сам ложится в них, если отпустить.

На втором листе так же. На третьем.

На четвёртом внизу справа, там, где держат пальцем, когда читают долго и не кладут лист на стол, стояло пятно.

Не грязь. Бумага в этом месте была примята и потемнела ровным овалом, каким темнеет от тепла и влаги руки.

Я поднесла лупу.

Овал лежал поверх старого сгиба, а не под ним.

* * *

Пятое, чего я не искала, нашлось само.

На седьмом листе, у верхнего края, был влажный след.

Влажный — то есть не высохший. Бумага в этом месте набухла и пошла по краю мелкой гребённой, и гребёнка эта ещё не села, а на такой бумаге она садится за сутки.

Форма следа была пальцевая, с ясным краем, шириной в большой палец.

Я осмотрела свои руки.

Руки у меня сухие. Они сухие всегда, и это профессиональное: у нас в отделе не работают с влажными пальцами, за это отчитывают на первой неделе, и я за восемь лет не оставила мокрого следа ни на одном документе.

За окном стоял мороз, в квартире было сухо, чайник я в тот день не ставила.

Я записала след и обвела его карандашом по контуру на бумаге снаружи, отступив, — как отмечают, чтобы потом сверить.

Потом я пошла к журналу.

* * *

Журнал я веду с первого года службы.

Это не дневник. В дневнике пишут о себе, а у меня графы: дата, что сделано, что установлено, что отложено. Дневника у меня нет и не было.

Я открыла на последней исписанной странице.

Внизу, отдельной строкой, ниже всего, стояло:

Прочитала все.

Дата — вчерашняя.

Я смотрела на эту строку и делала то, что делаю с любым спорным почерком: разбирала её на признаки, чтобы установить руку. Я делала это добросовестно, зная заранее, чем кончится, и всё-таки прошла до конца, потому что не пройти было нельзя.

Наклон правый, двенадцать градусов. Мой.

Интервал между словами шире нормы, почти в две буквы. Мой.

Нажим падает уступом после третьего слова с конца — в строке из двух слов проверить нечем, но заглавная посажена выше строки ровно на мою малость.

Точка поставлена отдельным касанием.

Строка была моя.

Я не написала под ней «ошибка» и не написала «не помню». В описи так не пишут. В описи пишут то, что установлено, а установлено было следующее: строка исполнена моей рукой; дата вчерашняя; содержание строки не подтверждается ничем, кроме неё самой.

Так я и записала.

* * *

Потом я стала считать.

Я разложила конверты на столе в ряд, по номерам, слева направо, с равными промежутками. Считать в стопке нельзя: в стопке слипаются.

Раз. Два. Три. Четыре.

Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять.

Десять.

Я собрала их обратно и разложила ещё раз, теперь откладывая по одному вправо и называя вслух, — так пересчитывают деньги при передаче, и так учат считать всё, что можно пересчитать неправильно.

Раз. Два. Три. Четыре.

Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.

Рука пошла за десятым и не взяла ничего.

* * *

Я не стала пересчитывать сразу.

Сначала я осмотрела стол — весь, включая пол вокруг и под столом, и подоконник, и стул, и собственные колени. Конверт такого размера не улетает и не заваливается бесшумно.

Ничего.

Тогда я сделала то, чему меня учили делать с местами, а не с предметами.

Я взяла карандаш и обвела на клеёнке место каждого конверта — по десяти отметкам, которые остались от первой раскладки: клеёнка держит след, если по ней провести ногтем вдоль обреза.

Вышло десять прямоугольников, ровных, с равными промежутками.

В девяти лежало по конверту.

Десятый был пуст.

Я стояла над столом и смотрела на этот пустой прямоугольник, и он был точно такой же величины, как остальные девять, и края у него были такие же резкие, и промежутки до соседей — те же.

Место было. Предмета не было.

* * *

Я записала.

Разложено десять. При пересчёте установлено девять. Место десятого размечено, предмет отсутствует. Осмотр помещения проведён, не обнаружен.

Дальше по форме шла графа «причина расхождения».

В эту графу за восемь лет я вписывала три вещи: пересорт, недостача, ошибка счёта. Четвёртой не бывает.

Ошибку счёта ставят, когда пересчитавший сам её признаёт. Пересчитывают дважды, и, если во второй раз выходит верно, пишут «ошибка счёта» и закрывают.

Я пересчитала во второй раз.

Девять.

В третий.

Девять.

Я не вписала «ошибка счёта».

Мне это предлагали изнутри — мягко, разумно, тем голосом, каким разум предлагает единственное объяснение, которое ничего не стоит: устала, сбилась, положила не туда, найдётся. Голос был убедительный, и всё в нём было верно, кроме одного: я считала трижды, вслух, откладывая по одному, и на клеёнке размечено десять мест.

Признать ошибку счёта — значит признать, что мой счёт не работает.

А счёт — это последнее, что у меня работает.

Я поставила в графе прочерк.

Прочерк в графе причины — вещь редкая. Его ставят, когда все три допустимые причины проверены и ни одна не подошла, и дело после этого уходит наверх, где кто-нибудь другой решает, чего не хватает: людей, замка или проверяющего.

Наверх это дело уйти не могло.

Я сидела над своим прочерком и понимала, что впервые за восемь лет веду опись, у которой нет второй инстанции. Всё, что я установлю, останется установленным мной и проверенным мной, и подтвердить или опровергнуть меня некому.

Так работает не архивист. Так работает свидетель, у которого нет других свидетелей.

* * *

Ночь я просидела за столом.

Не караулила — работала: переписывала признаки, сверяла номера с записями восемнадцатимесячной давности, восстанавливала по памяти порядок, в котором тогда брала конверты с полок.

Дважды за ночь я вставала и проверяла дверь. Оба раза щеколда была на месте, ключ изнутри, и оба раза я поймала себя на том, что не помню, как дошла до прихожей.

Под утро я поставила проверку.

Девять конвертов оставила на столе, по разметке, как лежали. Входную дверь заперла, ключ вынула из скважины и взяла с собой — не оставила изнутри, как оставляю всегда, а взяла, чтобы, если рука пойдёт сама, ей пришлось бы сперва разбудить голову.

Выходя из комнаты, я насыпала поперёк порога полосу муки. Шириной в ладонь, ровным слоем, от косяка до косяка.

Мука — средство грубое, ему место в дурных книгах, а не в описи. Я всё равно её насыпала, потому что ничего лучше в доме не нашлось, а не сделать было нельзя.

Легла, не раздеваясь, с ключом в кулаке, и спала полтора часа.

Когда я встала, на столе лежало десять конвертов.

* * *

Полоса муки на полу была нетронута.

Ровная, с тем мелким гребнем по краю, какой остаётся от сыпания и садится сам. По ней не проходили ни в комнату, ни из комнаты. Ключ лежал под подушкой, где я его оставила, тёплый от постели.

Десятый лежал в своём прямоугольнике.

Точно в нём, обрезом по линии, номером вверх. Ни на волос мимо. Так кладут, когда видят разметку и кладут по ней.

Я не притронулась к нему полчаса.

Потом взяла и осмотрела по тем же четырём признакам: номер мой, надрез влево, полоса на клапане, бумага той зимы. Он.

Я вынула лист.

Он был сложен вдвое.

Сгибы шли не по старому.

Новый сгиб виден сразу: волокно на нём ещё белое, ломается сухо, и лист не ложится в него сам — его надо придерживать. Старые сгибы никуда не делись, они шли рядом, в двух-трёх волосках, и лист теперь имел двойную складку, как имеет всякая бумага, которую развернули и сложили заново не тем, кто складывал первым.

Внизу справа стоял овал — примятый, потемневший, от тепла и влаги руки.

Овал лежал поверх старого сгиба и под новым.

Это значит одно: лист развернули, держали, читая, за нижний правый угол, и потом сложили обратно — и всё это между старым сгибом и новым, то есть после отправки и до сегодняшнего утра.

Я положила лист на клеёнку, лицом вниз, не перевернув.

* * *

Ключ был у меня в кулаке.

Я разжала руку и посмотрела на него, и на ладони стоял отпечаток — глубокий, красный, с ясным краем, какой остаётся, если держать железо в кулаке несколько часов и не разжимать.

Значит, я не разжимала.

Значит, руки мои всю ночь были заняты ключом, и это единственное за сутки, что говорило в мою пользу.

Я подержала эту мысль ровно столько, сколько она стоила.

Отпечаток говорит, что кулак был сжат, когда я проснулась. Он не говорит, был ли он сжат всё это время. Железо, взятое в руку заново и подержанное четверть часа, оставляет тот же след, и отличить одно от другого нельзя ничем.

Я записала это. Против себя записывать труднее всего, и потому это записывают первым.

* * *

Дальше я сделала то, чего от себя не ожидала.

Я взяла блокнот и на чистой странице выписала всё, что установлено, в два столбца.

В левый: конверты те же; номера мои; надрезы мои; строка в журнале моей рукой; влажный след не мой по всем известным мне признакам, кроме одного — некому больше; десятый исчезал и вернулся, лёг по разметке; лист десятого читан после отправки.

В правый, где полагается писать то, что требует проверки, я вписала одну строку и на ней остановилась.

Кто читал.

Строка стояла, и под ней было пусто, и я смотрела на это пустое место и понимала, что проверять здесь нечего: круг замкнут. В доме, где заперта дверь и цел замок, читает тот, кто в доме.

Я не написала «я». Я написала бы, если бы это было установлено. Установлено это не было — установлено было только то, что больше некому, а «некому больше» и «она» — разные графы, и путать их нельзя, иначе рассыплется всё дело.

Так я себе объяснила.

Объяснение было безупречное, и я держалась за него весь день, и оно продержалось до вечера.

* * *

Вечером я собрала все десять и убрала в коробку, и коробку поставила на полку, и перевязала своим узлом.

Прежде чем завязать, я сосчитала ещё раз, в коробке, вслух, откладывая по одному на ладонь.

Десять.

Я завязала и не стала проверять.

Проверять было незачем: всё, что можно установить пересчётом, я за этот день установила, и установила дважды разное. Дважды разное — это не сведения. Это то, что в наших бланках называют «расхождение, не устранимое имеющимися средствами», и с такой пометой дело либо передают, либо закрывают.

Передавать было некому.

* * *

Потом села и посмотрела на разметку, оставшуюся на клеёнке.

Десять прямоугольников. Все пустые теперь, и по ним не скажешь, в каком чего не было.

Десятый конверт был уже прочитан.

И я не помнила, что в нём.

Глава 10. Моё имя

К двадцать девятой строке я не подходила восемь дней.

Не потому, что боялась. У меня был порядок: сперва девятнадцать, потом десять, потом зачёркнутые, и своя строка стояла в этом порядке последней, потому что своё в описи всегда идёт последним. Я держалась порядка честно и дошла до конца честно, и восемь дней порядок работал.

На девятый работать было нечем.

Осталась одна строка, и в ней стояло моё имя, написанное рукой ребёнка лет десяти.

* * *

Установить руку без образца нельзя.

Это первое, чему учат, и это же первое, что забывают: сличают не с памятью, а с документом. Образец должен быть трёх свойств. Датирован — иначе неизвестно, когда рука была такой. Независим — то есть попал в дело не от того, чью руку устанавливают. И бесспорен — то есть никто не оспаривает, что его писал именно этот человек.

Я разложила на столе всё, что у меня есть от детства.

Три школьные тетради. Год на обложке стоит, но проставлен он моей же рукой, и, значит, датировка не независимая.

Библиотечная карточка, где моё имя выведено рукой библиотекаря. Датирована, независима — и написана не мной.

Две открытки без текста.

Всё.

У человека, прожившего двадцать восемь лет, должен быть десяток бесспорных образцов детской руки: прописи с учительской отметкой, поздравительная открытка бабушке, подпись под рисунком в школьной выставке, заявление в кружок. У меня не было ни одного, где бы моя рука и чужая датировка стояли на одном листе.

Я записала это отдельной строкой, потому что отсутствие тоже сведения.

А потом вспомнила про формуляр.

* * *

Детская библиотека была на прежнем месте, в полуподвале, с той же дверью, открывающейся внутрь.

За стойкой сидела старуха. Не та, что записывала меня, — ту я не помнила совсем, но эта была слишком стара для тех лет, а библиотекари не молодеют.

Я показала удостоверение и сказала, что мне нужен мой собственный читательский формуляр.

— Списанные в подвале, — сказала она. — Сорок лет никто не спрашивал.

— Я подожду.

— Ждать долго. — Она посмотрела на меня поверх очков. — Пойдёте со мной, будете держать лампу.

* * *

Формуляры лежали в связках, по годам, перевязанные шпагатом, и шпагат на некоторых связках был съеден мышью.

Она нашла мой год с третьего раза.

Формуляр — это картонный карман с сеткой граф внутри и с номером в верхнем углу. Номер ставится при записи и держится за читателем, пока он ходит.

Мой номер стоял в углу, синим штампом.

Двадцать восемь.

Я посмотрела на это число дольше, чем оно того стоило, и знала, что дольше, и всё равно смотрела.

Число ничего не значило. Библиотека записывает подряд, номер выдаётся тому, кто пришёл двадцать восьмым, и в тот год двадцать восьмой пришла я. Между библиотечным порядком и остальным на свете нет никакой связи, и предполагать её — работа не архивиста, а гадалки.

Я записала номер в блокнот и приписала сбоку: *совпадение, значения не имеет*.

Потом подумала и приписку не зачеркнула, а подчеркнула. Так у меня отмечается то, к чему я вернусь.

* * *

Внутри формуляра, на первой строке, стояло моё имя.

Написанное мной.

У нас так и заведено: библиотекарь заполняет верх карточки, а читатель на первой строке пишет своё имя сам — это заменяет подпись под правилами. Рядом стоит дата записи, поставленная штемпелем, машиной.

Датировано. Независимо. Бесспорно.

Я держала в руках то, чего у меня не было ни в одном ящике: свою детскую руку рядом с чужой машинной датой.

— Нашли? — спросила старуха.

— Нашла.

— Тогда держите лампу ровнее, у меня тут связки на честном слове.

* * *

Дальше шли записи о выдачах, столбиком, по строке на книгу: шифр, дата выдачи, дата возврата, роспись библиотекаря.

Столбик был длинный. Я брала много и держала подолгу.

Последняя строка была не такая, как все.

Шифр стоял. Дата выдачи стояла. В графе возврата — прочерк.

Не пусто. Прочерк, поставленный рукой, коротко, и графа закрыта снизу чертой, чтобы туда нельзя было дописать после.

Я уже видела такую закрытую графу и видела её недавно, в холодном доме, на бланке, где полагалось стоять причине смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.